

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 46

1986



Эдуард КОРПАЧЕВ

БЕГАЮЩАЯ ПТИЦА

М О С К В А
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК» № 46

Эдуард КОРПАЧЕВ

БЕГАЮЩАЯ ПТИЦА

Рассказы

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1986

Эдуард КОРПАЧЕВ

Эдуард Маркович Корпачев родился в 1937 году в городе Рогачеве Белорусской ССР в семье преподавателя учительского института.

Окончив в 1960 году отделение журналистики Белорусского государственного университета, Эдуард Корпачев сотрудничает в республиканских газетах, много разъезжает по республике. Первая его книга, адресованная юным читателям, вышла в Минске в 1962 году. Затем появились и другие сборники рассказов и повестей.

С 1965 года Эдуард Корпачев — автор журнала «Огонек». Его рассказы публикуются и в других журналах, а также в центральных газетах.

За последние годы в Москве вышло несколько книг писателя, среди них «Горький дым», «Конный патруль», «Трава окраин», «Двое на перроне», «Нежная душа», «Стая воспоминаний», «Вечный день июня», «Юнга с бронекатера», «Тройка запряженных кузнециков», «Гони свой поезд, мальчик!», «Четыре судьбы».

Рассказы Эдуарда Корпачева переводились на языки народов СССР, издавались за рубежом. А сам писатель плодотворно трудится в области художественного перевода, донося до всесоюзного читателя произведения белорусских прозаиков.

Эдуард Корпачев — член Союза писателей СССР.

БАБОЧКА, Я ПОДРАЖАЮ ТЕБЕ

Вину юных дочерей Тинин думал одним вздохом развеять по ветру на теплых еще, ноябрьских холмах Прикарпатья, в Трускавце. Как ни удерживала Москва Киевским вокзалом, где Тинин обменивал дневное ожидание на клочок бумаги, разрешающей вскоре постучаться жесткой подошвой дорожного кофра о перронный асфальт Львова, и как ни удерживала Москва потом и метрополитеном, подарившим избыточные круги по кольцевой линии ради забытой путевки в санаторий,— все же Тинин успел увести из дому и путевку, и новое огорчение, возникшее оттого, что все углы родного гнезда полны были музыкой, и жена с дочерьми вроде праздновала его отъезд, и недаром потом всю ночь, баюкавшую железнодорожной колыбельной, рельсы то ли аккомпанировали самым грустным воспоминаниям, то ли скрежетом воздавали хвалу коллеге, который отказался от осеннего лечения и невольно помог тебе покинуть дом, где готовы радоваться, едва ты прочь. Жуткий дом! Любимая жена, любимые дочки, а нет житья. И кульминацией семейного раздора вставала совсем недавняя казнь Тинина: старшая дочь, от гнева превращаясь в одно мгновение в опасную незнакомку, смотрела на него, своего отца, так, точно он уже и не живет, и медленно вынимала ладонь, как из ножен, из другой ладони. В бессонном пути во Львов, а затем и там, где фонтаны, источники Трускавца предлагали одну и ту же насыщенную воду, Тинин то и дело закрывал лицо руками: казнь не состоялась, но живой узенький меч дочери все-таки приходился по его голове, если вспомнить. Услуга воспоминаний длилась, и казнь Тинина отыскивала свою причину: обманувшись мужскими сапожками в прихожей и приняв их за обувь какого-то неокавалера старшей дочери, Тинин двумя пальцами вынес в кухню гусарскую обувь и, подержав на весу в распахнутом окне кухни эти сапожки, выронил их, и еще не донесла двенадцатиметровая высота цокающего дуплета снизу, с асфальта, а Тинин громко оповестил всех о своем подвиге, о том, где надо искать свои подметки ухажеру, и вот тут-то и выяснилось, что в гостях у дочери все тот же великан, пришедший услышать оду своей обновке, и старшая дочь, ринувшись спасти честь великана, лишь в последний момент задержала кончики узкой ладони в тесном чехле другой ладони, отдав во взгляде всю взрывчатую смесь дочерней ненависти.

Фамилия, включая жениха гигантского роста, стояла в прихожей в полном сборе и не возражала казни. Любимая жена, любимые дочки! Но ни в глазах жены, которая проверяла, как всегда в минуты волнений, на месте ли ее сокровища, прильнувшие к мочкам ушей, ни в ускользящем взгляде младшей дочери, суетившейся у телефонного аппарата и как бы выбиравшей, куда ей унести телефонную длинную ниточку, на которой она будет весь вечер держать своего юного дружокча, ни в томном взоре сытого великана Тинин не видел спасения. Он вспомнил, что все последние годы советовал себе жить подобно бабочке, булавкой приколотой к стене, и назавтра же решил придумать что-нибудь такое, чтобы из горячей квартиры исчезнуть хоть на время, фигурально говоря — кануть вслед за сапожками. Но этот дочкин меч, который вынимала она, как из ножен! И в пути на Львов, и в Прикарпатье, где струились речистые источники, ему приходилось то и дело, уже мысленно, закрывать лицо руками: эпизод семейной экзекуции возникал в его памяти спонтанно. И эта оплошность: с кем-то в Трускавце он поделился последней драмой, вовсе не предполагая, что его боль перевоплотится в анекдот. И когда за обеденным столом к нему вернулась был, где фигурировали взрослая дочь, жених дочери и сапожки этого великана, Тинин понял, что теперь ему уже все равно, где таиться: анекдот зародился в Москве, анекдот настиг и в Трускавце. И Тинин, в последний раз выпив чашку трускавецкой воды, посмотрел с надеждой в ту сторону, где за холмами, должно быть, красовался Львов: ехал он во Львов не только потому, что стал дома, в Москве, лишним, а потому еще, что во Львове сорок лет сторожила его, Тинина, зыбку няня Зофья Владиславовна — та, которая и зыбку оберегала, допустим, и знала радостные тайны о матери и отце Тинина, ибо несла их в своей душе сорок или более лет живыми.

Тинин слышал о Львове от сослуживцев, но не предполагал, что могут быть такие прекрасные города.

Едва устроившись в старинном отеле, из номера которого видна была та дивная круглая площадь, чьим превосходным ансамблем дирижировал Адам Мицкевич, в памятнике которому торжествовали и великий поэт, и создатель этого памятника, Тинин словно бы пошел считать, сколько улиц легло кольцами вокруг памятника Адаму Мицкевичу и превратилось, по замыслу зодчего, в архитектурные венки, преподносимые Львовом божественному поэту. «Милые мои! — почему-то обратился Тинин мысленно к жене и к дочкам. — Это же какие дары Львова поэту Адаму Мицкевичу!» Восторг Тинина как будто прибывал сообразно щедрости зодчего, окольцовывавшего поэтичный памятник несметными архитектурными подарками, и Тинину легко давались пяди города, где он родился и где не был всю жизнь, и остановился Тинин, вдруг услышав неизвестно каким образом прозвучавший, но такой памятный голос Зофьи Владисла-

вовны, всегда упразднявший расстояние, как раз возле дома, где когда-то родился: эмалированное тавро дома совпадало с адресом, полинявшим да истлевшим за несколько лет затворничества в кармане пиджака. «Это мой родной дом,— прочитал он тот, видный лишь ему одному, комментарий к эмалированному тавру, и что-то запело в нем, привычно становясь песенкой отрицания: — Ни-ни-ни! Никто никогда не обижал меня. Дочки растут, психика их не успевает перестраиваться... Так, наверное, во всех семьях. Никто не обижал меня! Разве можно обижать сироту? Мамы не стало, когда я еще и не запомнил ее, а потом и отца не стало в самый первый день войны. И только няня, только Зофья Владиславовна, которая ждет меня здесь всю жизнь!»

Он хотел причесать волосы, а кто-то мешал ему. Он хотел взглянуть на свое отражение хотя бы в стеклянной доле двери, взглянуть и успокоить себя, что уже не такой узкоплечий, subtilный и что преждевременные морщины на лице разгладились там, где струятся трускавецкие воды, а кто-то торопил его. Он хотел поискать тот волшебный сундучок, что возносит нас по вертикали, а кто-то увлек его пешком по лестнице цвета замазки — и во всем, конечно же, была воля няни Зофьи Владиславовны, которая всю жизнь ждала его, чтобы рассказать о самом начале его жизни. К чему этот рассказ теперь, на этой лестнице, когда он шел взглянуть на свою детскую комнату,— Тинин не понимал. А ведь как раз теперь он слышал все, что было новеллами Львова, переданными по телефону в Москву! И Тинин не понимал сейчас, кто заставляет его повторять усвоенное: и как первая бомбежка Львова осиротила годовалого мальчика, и как склонились над круглым сиротой потрясенные горем женщины — няня Зофья Владиславовна и мамина родственница, совсем еще юная, сама еще дитя, и как ясный взор годовалого мальчика заставил убивающихся женщин унять слезы и поделить муки, и как удалось лишь маминой родственнице, девочке по виду, прижать малыша крепче в том вагоне, в который Зофья Владиславовна сесть не смогла, потому что и пуговицу, допустим, в тот вагон уже нельзя было бы закинуть. Но почему эти новеллы Львова, расширявшие исток его жизни, слышались Тинину и теперь, когда он был во Львове и поднимался лестницей дома, в котором родился? Что за странный принцип памяти — репетировать изученные новеллы Львова сейчас, когда шел он почерпнуть тех бесценных подробностей, что устраняют пробелы меж новеллами, превратив их в эпическое полотно о злоключениях сироты? Или память тиражирует новеллы, чтобы не возвращаться к ним хотя бы теперь и чтобы не забыть о главном, так и не проясненном до сих пор в диалогах последних лет? Чтобы не забыть о главном, без чего уж четыре года складывается драматургия телефонных разговоров! Чтобы не забыть, не забыть: где, на каких железных дорогах войны сгнула навсегда та девочка, та

мамина родственница, и не придет ли на помощь и тут, не окликнет ли ее, живую, в даялах страны диктор всесоюзного радио, как окликнул он бывшего львовского мальчика в Москве?

Электрический звонок подвел его: Тинин щедро улыбнулся, а дверь открыл неожиданный хмурый мужчина в спортивном трико, облубованном созвездиями дырочек, точно это трико было однажды расстреляно дробовым зарядом, и Тинин, не зная, что коридор будет длинен и что улыбку можно как бы выключить на мгновение, не рассчитал накала улыбки и принес ее в дальнюю комнату Зофьи Владиславовны несколько потускневшей, словно дюжина шагов по коридору обесценила улыбку.

Няня! Нянчила, нежила руками, ее руки складывались так, что образовывалось самое удобное гнездо для маленького Тинина... Эта серьезная, молча вопрошающая женщина в сером костюме тончайшей муаровой шерсти, эта женщина, еще не сдававшая старости, эта женщина с почти лепными крендельками продуманно уложенных волос, где больше было все же теплого пепла, чем снега, когда-то нянчила, нежила руками годовалого Тинина, и теперь третий человек Тинин взглянул на нее с любовью: благодарность можно привести и лет через сорок или даже через полвека. Он смотрел на нее из колыбели, а теперь смотрел с порога — уже такой человек...

— Зофья Владиславовна,— виновато, памятуя, что в последнее время он всем мешает жить, полуспросил он,— это я?

— Пан легко нашел свой дом? — перечеркнула Зофья Владиславовна его вопрос подсказкой: уже не в счет последние поиски родного дома, коль пан покидал его так давно, в начале войны...

Львов был не только краше иных городов, Львов своими старушками, не отказавшимися от галантных манер, утверждал статус приветливого города, и пан из Москвы молча сетовал на себя, что ни в прошлом году, ни раньше не отважился приехать сюда, где первое же слово львовянки возвышает тебя.

Он смотрел на Зофью Владиславовну из колыбели, почти полвека назад, а теперь смотрел с порога этой комнаты, но ведь тот Тинин забыт, а нынешний Тинин уже не молод. И все же, давая Зофье Владиславовне возможность пренебречь десятилетиями и под многими наслоениями отыскать некий родовой знак Тининых, проявляющийся то ли во взоре, то ли в реакциях, он смущенно и осторожно обирал взглядом комнату, в которой, может быть, полстолетия назад вопил. Он понимал, что никакие довоенные реликвии не будут опознаны им, но все же! Все же нечто подсказывало ему, как это случалось и в Москве, когда воображение подкидывало планировку отчего, львовского дома: ищи зыбку. Допустим, зыбка давно разлетелась на множество осколков, качество металла определило ее превращение в артиллерийский снаряд, но вдруг она и сохранилась до сих пор где-нибудь в том углу, где что-то, похожее на крупного

комнатного слона, покрытого попоной в шахматную клетку? Не дано было возродиться в его памяти ни пианино, на лаке которого коготки времени оставили тревфовый отпечаток, ни старинной книге с польским текстом, и все-таки и пианино, и книга оказались раскрытыми, словно в угоду гостю предлагали вопросы львовской школы, и Тинин, реализовав улыбку в ухмылку, грустно задумался.

«Зофья Владиславовна, это я?» — уже молча спросил он, не узнавая раскрытого пианино, раскрытой книги.

Зофья Владиславовна перекрестилась по-католически, и это была, наверное, самая глубокая благодарность гению долгих ожиданий.

Улыбка переродилась в ухмылку не напрасно: он увидел прожитый день, когда позвонил Зофье Владиславовне из Трускавца и когда здесь, в отчем доме, наверняка сразу приподняли черное веко пианино и раскрыли книгу — чтобы гость в первые же мгновения встречи каким-то образом ответил на вопросы львовской школы. И Тинин, угадав в этом нянин тест, испугался. Вся жизнь его была полна опасений: в детском доме он остерегался жуткого переростка Жлоба, любившего незаметно ущипнуть, в институте трусил, сдавая экзамен таким, как белолицый невозмутимый инквизитор Ямченко, дома боялся жены и дочерей, а теперь боялся, как бы его не уличили в отсутствии культуры: он не играл на рояле и не читал по-польски. Не играл на рояле и не читал по-польски!

Испуг этот легко мог побрататься с возмущением, Тинин уже почувствовал раздражение оттого, что надо бояться провала и как-то не отвечать на вопросы львовской школы, Тинин попытался оправдать нянину попытку экзаменовать гостя столь поспешно: годы ожидания, а еще более письма, в которых можно быть искусным реставратором подробностей, и телефонные разговоры, в каждом рождающие актера, создали такой замысловатый образ москвича! И Тинин, опасаясь первой нелюбви к няне, посмотрел на няню глазами нищего, просящего не хлеба и не серебра, а человеческой теплоты, и взглядом пообещал невеселую информацию, а пока лишь выразил эмоциональную суть того, кто должен жить подобно бабочке, булавкой приколотой к стене: той любят, но ты не мешай другим порхать.

— Да, это детская,— проследив за его взглядом, выбиравшим в этом музее детства комнатного большого слона, сплошь покрытого попоной, пояснила Зофья Владиславовна с некоторым разочарованием, словно она поняла, что можно закрывать и пианино, и книгу. — Теперь тут мое гнездышко. Но раньше, когда во всей квартире жили до войны Тинины, была детская. Теперь тут мое гнездышко, а там... — И она махнула рукой, будто короткой горизонтальной линией пометила небытие человека в невозможном трико, уже однажды расстрелянного дробовым зарядом.

— Я ведь мог приехать и раньше, Зофья Владиславовна! — солгал он, стараясь не смотреть на раскрытое пианино и раскрытую книгу,

и принялся ловить ладонью теплые и, наверное, красные пятна на лице, припомнив, как дом в Москве замолчал на целую неделю, едва он обмолвился, что хотел бы самолетом во Львов.

— Это родное гнезdecko. Родное, пан! — воскликнула Зофья Владиславовна, тоже стараясь не смотреть ни на пианино, ни на книгу, чьи страницы, вздувшиеся двумя валиками, как бы являли мускулы книги.

— Я мог бы приехать и раньше, Зофья Владиславовна! — уже с раздражением повторил он, чувствуя нелюбовь к пронизательной женщине, от которой надо скрывать многое: и что не играешь на рояле, и что живешь как бабочка, как бесшумная бабочка, чье место где-нибудь на стене.

— А что у пана происходит дома? — точно своей душой моментально восприняв все, что происходит в его душе, постаралась она отвести его взгляд от неузнанных вещей музея детства, как бы набросить непроницаемый полог на пианино, на книгу и заставить смотреть в сторону Москвы.

Новеллы Львова, то письменные, то телефонные, убеждали Тинина несколько лет в том, что деликатнейшая няня нисколько не пытается проникнуть в запретную для нее зону, не желает уменьшить число секретов, не задает прямых вопросов. А меж тем получается, что осторожные новеллы Львова непременно рассчитывали на недоговоренности, утайки — и, следовательно, на разглашение многих и многих секретов московского дома!

— Ни-ни-ни! — запел Тинин. — Обычная семейная жизнь: сегодня ссора, завтра веселье. Старшая, Татьяна, — ну, у нее кавалер такой великан, у нее свои трудности, перестраивается психика, стараюсь не осложнять ее жизни. А младшая, Марфинька... — И он, полагая, что удастся обойти стороной тихие скандалы и всякие смешные сложности, неизбежные в семейной жизни, приоткрыл тот период в жизни Марфиньки, когда сроки подарили младшей дочери девическую грудь и когда она стала требовать и настаивать, чтобы в совершеннолетие она вступила с приличным именем, чтобы за любые деньги купили ей светское имя: пускай Марина, пускай Маргарита. Теперь новеллы Москвы, которые Тинин хотел преподнести с юмором, невольно выдавали неблагоприятие то одной, то другой поры, и Тинин, спохватываясь, уходил куда-то в тень главного героя рассказов и вновь приглашал Марфиньку стать действующим лицом: как Марфинька, едва воротившись с прогулки, вся в снегу, еще не сняв ушанки, начинает звонить своему дружку, с которым только что рассталась. «Ну, как ты там, Вить?» — спрашивала она дивным голоском неизвестной киноактрисы, и начинался диалог, полный традиционных тем: телевизионные дикторы, эстрадные исполнители, романы Аллы Пугачевой, гибель Михаила Боярского, который оказывался живым. Что поделатъ! Вся Москва своеобразно читла

своих кумиров: хоронила в чужих постелях или в заграничных отелях, а певцы потом хохотали с телевизионных экранов. Зимой или летом повторяла Марфинька городской фольклор? Допустим, в январе, когда весь месяц снег летел такими густыми и стремительными нитями, что можно было разглядеть, казалось, белые рваные платья зимы. А летом былое предание становилось последней сенсацией вновь, и уже не Марфинька, а жена повторяла сказку своей конторы, при этом прикасаясь к сокровищам, облагораживающим мочки ушей: прикосновение убеждало лишний раз в реальности чудес.

Веер сведений о московском доме еще не распахнулся достаточно широко, а Зофья Владиславовна, как заметил Тинин, уже с надеждой посмотрела на окно: так ищут выхода из того плена, что зовется разочарованием. Тинин, не обрывая рассказа, все-таки ладонью прихлопнул особенно теплое пятно на лице и так недружелюбно взглянул на няню, что от неожиданности она присела на вращающееся кресло, крутнувшееся под нею и показавшее ее в профиль: острый носик и те же лепные крендельки волос.

Тинин сам причислял себя к обычным людям, жизнь которых можно изобразить так: если насыпать нескончаемым пунктиром корм, то переползание от одной порции корма к другой и будет жизнью. Но разве таких, как он, не мириады на свете? И разве от этого он меньше нуждается в тепле человеческого взгляда? И разве не ради этого тепла он устремился в свой тяжкий час в неповторимый Львов, окруженный восхлещательными знаками облетевших пирамидальных тополей?

Теперь он понимал, что мог бы еще несколько лет быть для няни тем подпольным рассказчиком, чья суть ускользает, затмевается письменными и телефонными новеллами: я приеду, я пришлю фотографии, ищите бога или маленького человека на тех фотографиях, но все равно вы меня не видите! Становясь рассудительным оттого, что он уже не станет для няни тем интересным человеком, чьи тайны неисчерпаемы и прибывают с каждым днем дружбы, он даже позволил себе прикоснуться к приманке с польским текстом, взять фунтовый томик в руки и, легко соединив латинские буквы в имя и фамилию корифея, чья вдохновенная бронзовая фигура дирижировала архитектурным парадом Львова, одобрительно кивнуть головой, а затем захотел воздать няне ответным раздражением и повернул прожитый месяц вспять: старшая дочь держала тепленький меч зачехленным, но наготове, сам Тинин томился в очереди на Киевском вокзале, улавливая, как приближившийся обморок норвит дать подножку, затем в Трускавце Тинин не допил огромной чаши пяти дней — и все это ради того, чтобы уже в первые минуты здесь, в пожизненном гнезде Тининых, смотрительница музея детства, няня, не клялась в давней верности тининскому роду, а глядела в окно, где был все тот же Львов, и мгновениями своего отсутствия не опасалась так неосторожно оскорбить единственного из Тининых, кто уцелел?

Мстить Зофье Владиславовне за ее разочарование в том, кого она ждала и кого наверняка пыталась экзаменовать в традициях львовской школы, можно было грубым путем, доказывая, какая дума привела его в отчий дом, и Тинин, прервав рассказ о Москве, который в чем-то разоблачал его, экспрессивно спросил:

— Значит, отсюда ушел отец в первый день войны?

Зофья Владиславовна взглянула недоуменно, точно он, тертый человек, превратился вдруг в годовалого дурачка.

— Я думала, пан спросит сначала о матери,— спохватилась она, будто ей приходилось отказываться от того рассказа, к которому готовилась, и вздохом продлила паузу, чтобы стало понятно, как нелегко ей психологически перестраиваться.

«Своенравная штучка», — подумал Тинин и, понимая, что он уже всегда будет бояться вздорной няни, в угоду ей подхватил:

— О маме? Тут все понятно: мама была прекрасна и нежна. Не иначе! Да и ваши письма... Тут все понятно, Зофья Владиславовна! Но как только мы стали слышать друг друга, как только мы — Львов и Москва... да, я с тех пор так и вижу: отец ушел из дома в первый же день войны, и где-то, на пути, еще на улицах Львова, взрывной волной или осколком бомбы...

Зофья Владиславовна то ли задумалась над его словами, то ли все еще постигала суть своего разочарования; и можно было лишь гадать, что же вызвало негативный эффект: дума ли о всей жизни или только о последнем часе, завершившем долгий подвиг ожидания?

Новеллы Львова давно посвятили его во все, что было сагой о Тининных, и ему давно было известно о неизлечимой в те давние, довоенные времена болезни матери, внезапно вспыхнувшей болезни, которая осиротила его еще в ту пору, что можно было назвать потемками, сумерками жизни, когда еще никакое явление не становится потом первой памятью. Тинин потому и не спрашивал о матери и не видел в этом никакой бестактности: спрашивая об отце, разве он не спрашивал о матери? Никакой своей бестактности Тинин не видел, а видел лишь нарочитую бестактность Зофьи Владиславовны и говорил себе: горы писем и телефонных разговоров — это все те же годы полувековой разлуки, это продолжение небытия того, чьи новеллы так радуют тебя. Какой самообман, какая лстящая игра воображения: милая старушка плачет и одновременно улыбается сквозь слезы, милая старушка протягивает навстречу сухонькие руки... Какой самообман!

И он, чья зыбка прикинулась в этой былой детской комнате большим игрушечным слоном, покрытым дивной, уже ворсистой от времени попоной, по которой брели да брели черные и белые шахматные клетки, строго взглянул на Зофью Владиславовну и с трудом удержался, чтобы не повторить вопрос.

Но та, что ожидала, что заждалась и что изрядно испортила свой характер извечным ожиданием, все же услышала вызов в этом, повторном, хотя и немом вопросе, нечаянно облокотилась на клавиши, и не то чтобы прозвучали под аккомпанемент ее слова, а сначала несколькими аккордами прорыдал инструмент, прежде чем смогла Зофья Владиславовна сказать:

— Нет, не на улицах Львова погиб отец, хотя и в первый день войны.

— Но под бомбежкой, Зофья Владиславовна, под бомбежкой!

— Под бомбежкой, но в чужом доме.

— И что же? — воскликнул Тинин, подумав что может быть, первые ему придется постоять за честь родительского дома, где он и оказался наконец.

— Отец был тоже прекрасный человек, но картежник. Они составляли... да, на всю ночь составляли какую-то пулюку! — полголоса, так, точно раскрыла тайну львовской масонской ложи, сказала Зофья Владиславовна.

— Это все подробности, подробности! — прервал Тинин и ощутил, как голос въезжает в хрипотцу. — Первый день, бомбежка на рассвете...

— Он был в своей компании, они составляли пулюку, и всех их накрыла бомба, — возразила Зофья Владиславовна.

Работа рентгенолога не давала Тинину надежды, что вот-вот он увидит не только пульсирующий внутренний плод, перекачивающий кровь, а и некую внутреннюю, подвижную, неустойчивую тень, которая и окажется тем, что называется душой. И все же, если и не выследил сокровенной тени, все равно знаешь, чем жив человек, а это значит — познал человека. Но сколько раз Тинину приходилось убеждаться, что и тот, кто просвечивает рентгеновским аппаратом грудную клетку человека, — даже тот ничего не знает об индивидуальных лабиринтах человеческой души. И теперь, когда отчий дом как бы готовился поставить пробу на том, кто давно покинул здесь своего огромного слона из папье-маше, и когда няня, оказывается, склонна была экзаменовать не только раскрытым пианино, раскрытой польской книгой, но и раскрытыми тайнами тех, кому принадлежали ключи от дома, куда счастье заживало почему-то в паре с бедой, — теперь Тинин не знал, какой новый каприз няни явится под личиной житейской правды. Впрочем, Тинин не знал и того, как он сам отнесется к привычке няни констатировать правду мелких подробностей. Не знал, почему его душа будет возражать против этих уточнений няни, и не знал, почему ему захочется опровергать их.

— Так уж это важно — ушел он вечером накануне или на рассвете? — как ему показалось, иронично спросил он, не подозревая, что подбрасывает няне кончик нити, ведущей к ссоре. — Главное ведь что? Под бомбежкой, в самый первый день войны...

Зофья Владиславовна с грустным любопытством посмотрела на него и перевела взгляд на окно, транслирующее все тот же Львов: так она бежала гостя, о котором думала сорок лет.

Не понимал Тинин, почему ему хочется опровергать детали далекого прошлого, бороться за устойчивый образ отца и словно бы видеть один и тот же ранний час, когда отец в последний раз взглянул из этого окна на Львов и ушел; но твердо чувствовал он теперь одно: телефонный кабель и почта спасали и его от разочарования. Так встреча с няней, первый же разговор с нею приводят к мысли: какое благо эти километры меж Львовом и Москвой, это великое расстояние, делающее нас незрячими. Что не сиделось там, в Москве, где надо было тихой, никому не слышной песенкой радости славить свой семейный союз? И что за странности у людей, которые могут годами писать нежные письма, но готовы рассориться в первый же час, едва железная дорога окажет милость? Или это один из бесчисленных экспериментов времени: как сирота откликнется на воскрешение няни? В России этот век трех революций и трех войн звал и не такие вечные разлуки или встречи там, где уже никого, а только двое, которых соединяет битва, крушение поезда или иная катастрофа.

Понимая, что эта детская, что эта бывшая детская комната, где столько десятилетий дремлет под попоной нечто, принимаемое им теперь за громадного игрушечного слона, — понимая, что этот уголок, эта детская и есть отчий дом, откуда уходил вдовый отец сорок с лишним лет назад и куда постучался через столько же лет и он сам, Тинин постарался забыть свое разочарование, забыть и оскорбительный нянин тест в традициях какой-то несовременной школы и миролюбиво сказал, уже думая о том, как бы уехать из Львова джентльменом:

— Не готов я к этим подробностям, Зофья Владиславовна. Письма, телефонные разговоры меня убедили: в первый день войны. Все это я представляю так, точно видел сам. Лишние подробности, Зофья Владиславовна.

— Но вы же сами просите уточнить, — неодобрительно покачала Зофья Владиславовна головой, на которой и не вздрогнули отвердевшие от лака крендельки волос. — Отец тоже был прекрасный человек, но это его азартные игры! Я и вошла в ту субботу сюда, в детскую, чтобы проверить, не дует ли из окна. Его уже не было, он ушел к своим! И окно оказалось запахнутым. Сколько раз я говорила ему, чтоб закрывал окно. Сколько раз говорила ему!

— Как будто он нарочно забывал? — улыбнулся Тинин, с трудом скрывая досаду и подсказывая себе, что это испытание продлится недолго и что все же удастся вырваться в Москву, железная дорога выручит, железная дорога запоет о доме, где столько родных, а если считать и великана, то...

— Я и не говорю, что нарочно, — настойчиво пропадала Зофья Владиславовна в том далеком, что давно уже не было реально. — Но всегда он забывал! А пан подвержен был простуде, это я хорошо помню. И всегда отец пана забывал закрыть окно! Уйдет, не закроет...

— Какие подробности, Зофья Владиславовна! — холодея от неприязни к женщине, помнящей все эти мелочи, и даже испытывая озноб, точно вдруг сказала простуда сорокалетней давности, упрекнул он ее в недоброй, как ему подумалось, памяти, и, словно тоже пожелав поскорее найти выход из плена, подступился к окну, от которого дуло, и выставил руки распяленными ладонями вперед, защищаясь от прохладных токов львовской улицы. — Да тут всегда продувает, Зофья Владиславовна, всегда тут сквозняки! А вы мне такое сказали... Бог знает что можно подумать об отце! Пусть вы его помните таким, а я буду видеть другим... Зачем мне такие подробности, Зофья Владиславовна?

— А вы, пан? — готовно спросила Зофья Владиславовна, локотком вновь найдя клавиши и случайным аккордом начав серию быстрых вопросов, произнесенных огорченным тоном. — Что вы летите на огонь? Что вы, как бабочка, на огонь? Что вы все об отце да об отце? Что вы — хотите обжечься? И почему ни слова о матери, о маминей родственнице, которая вывезла вас из Львова? И ни капли обо мне. Я для вас не живу?

— Да вы его всегда недолюбливали, Зофья Владиславовна! — поразился Тинин своему открытию и, не зная, как избавиться от игры озноба, весь передернулся, но лишь на мгновение вспугнул со спины стайку проникающих в оконные щели дуновений. — Простите, здесь меня просквозило, я пойду, мне надо согреться, я пойду в гостиницу, Зофья Владиславовна.

Лекала улиц легко вывели его к вечному средоточию Львова — как будто для того, чтобы здесь, в гостинице, он мог из окна своего номера постигать, что бронзовую фигуру Адама Мицкевича волшебник создал не сначала, а сами дивные здания — отель, оперный театр, кафедральный собор и другие здания — соединились в такое восхитительное архитектурное кольцо, что Львову стало понятно: бронзовый поэт с бронзовыми крыльями за спиной и воспевает все это диво.

Озноб и в номере гостиницы не бросил своих шуток, и Тинин, туникой набросив на плечи одеяло, стал выуживать из дорожного кофра сувенирные осьмушки коньяка, купленные им для московских коллег еще там, в Москве, в магазине национальных вин в Столешниковом переулке, а затем, выстроив коньячное племя на тумбе, в одежде прилег и взглядом словно стал выбирать, в какой осьмушке больше солнца, юга, сорокаградусной жары.

Жизнь была бы сносной в Москве, если бы понял сразу, что затвердил чудесное правило: ты есть, но тебя же и нет, тобой люблю-

ются, но ты не мешай другим порхать. И пусть это все называется счастьем. Теперь, когда таким заблуждением казалась надежда на встречу с няней и на какое-то заветное ее слово, от которого то ли пробудится родовая тининская честь, то ли прибудет сил, чтобы противостоять всем трюкам дочерей и спокойно наблюдать все гримасы счастья,— теперь более всего хотелось в Москву, в свой дом, где надо обуздывать свою раздражительность и учить эту раздражительность, эту вспыльчивость ходить на цыпочках и оставаться немой. Мы дрессируем себя, если наше рабство принесет счастье нашим родным, но мы не приемлем зависимости от чужих, и теперь Тинин, словно прослушивая вновь диалог во Львове, ужасался той мысли, что во Львове, живи он в этом прекрасном Львове постоянно, ему пришлось бы столько нервных клеток убить, в диалогах подстраиваясь под чересчур самостоятельный или даже вздорный характер няни, и он невольно все неушедшее раздражение многих лет, которое погнало его спастись бегством из Москвы, перенес на няню: так горько было, что и последнее прибежище не дарило теплом, и пора опять туда, где надо помнить чудесное правило для бабочки, для бесшумной бабочки. Все, что порой толкало его на безрассудные поступки и что месяц назад завершилось его бегством из Москвы,— все это раздражение пришло к своему пику теперь, и Тинину почему-то чудилась издевка даже в старомодном обращении няни к нему, Тинин не то чтобы продолжал обоюдоострый диалог, но не мог удержаться от комментария: «Это львовское панство... И какие-то подробности, которых я знать не хочу!» Фрагменты огорчительного диалога звучали для него вновь и вновь, будто подсказывали ему близость к истине или тяготение ко второму смыслу, особенно досаждал тот заключительный вопрос Зофьи Владиславовны, в котором не проskalывала попытка узнать, а скорее содержалось утверждение, что она, Зофья Владиславовна, будто и не жива для того, которого ожидала, выискивала в даях страны и в даях сорока с лишним лет, и Тинин, раздражаясь ее упреком и еще более раздражаясь оттого, что теперь, когда память зачем-то дублировала точную запись диалога, приходится находить справедливым нянин упрек и не видеть в этом упреке происка вздорного или трудного характера,— Тинин все же уступал, не выдерживал повторного натиска няниной обиды и почти признавал свое невнимание уже виной: «Да, надо бы сначала о живых, о тех, кто жил и сорок лет надеялся... Няня! Нянчила, нежила руками... И надо бы... Но только зачем мне всякие подробности, которых я знать не хочу!» И тут он возвращался к первым шагам встречи, видел раскрытое пианино и раскрытую книгу, душа его конфликтовала с тем порядком вещей, когда незнакомца, который был когда-то годовалым Тининым и наконец человеком зрелых лет ступил на порог цитадели Тининых, готовый экзаменовать в странных традициях здешней школы, и он уже приглядывался к единственному

исходу: отпустит лихорадка — и надо бежать на вокзал. Бежать в Москву, бежать домой, а там помогут почта и междугородный телефон.

Как вдруг он различил за дверью только что слышанный голос Зофьи Владиславовны и покачал головой: должно быть, память опять продемонстрировала безукоризненную запись. Но, выждав мгновение, чтобы проверить aberrацию слуха, вынужден был сгрести коньячное племя и сунуть его под подушку: Зофья Владиславовна и в самом деле принесла к двери его номера продолжение встречи, и почему-то там, за дверью, Зофья Владиславовна сначала произносила какую-то фразу холостую, а затем, наверняка придвигаясь к двери, говорила уже более внятно и более громко для него, обитателя этого номера с видом на площадь, вдохновляемую Адамом Мицкевичем. И получилось, что она, Зофья Владиславовна, переводит фразу, произнесенную в коридоре, на свою же фразу, но адресованную только ему.

В загадочном искусстве Зофьи Владиславовны вторить себе же он обманулся: когда внесла Зофья Владиславовна невесть где раздобытый стакан черного чаю с выроставшим над ним кустом тумана, а дежурная по этажу, что сопровождала ее, внесла лишь восхищенную улыбку, с которой смотрела на этот куст аромата и тепла, Тинин догадался, что никакой тавтологии Зофья Владиславовна не допустила и что у дежурной по этажу, воспринявшей мглу над стаканом как очередную радость жизни, голос напоминает нянин.

Белая клубящаяся мгла над стаканом, который оказался перед Тининым на тумбе, скрыла в своем живом облаке дежурную по этажу: можно было подумать, что жизнерадостная женщина то ли удачно использует ароматный заслон, то ли и сама испарилась. Мгновение назад ее улыбка словно говорила, что можно взбодриться от одного лишь пряного дыхания чая, а теперь и не было женщины с обворожительной улыбкой, определенно помогавшей жить не только ей одной. Истаяла, испарилась!

Но голос ее, показалось Тинину, все-таки прозвучал здесь, потому что не могло в один час досадливое воркование Зофьи Владиславовны, которое он слышал там, в своей родовой цитадели, перевоплотиться в тот привет гортани, которым обмениваются меж собой малознакомые люди, понимающие, что слова, лишь ласковые слова — это первый и последний дар незнакомцу.

И Тинин даже приподнялся и сел, пытаясь заглянуть по ту сторону клубящейся теплоты: нет ли там, за спиной интенсивной чайной дымки, изумительной хозяйки этажа?

— Пан по-прежнему подвержен простудам? — угадала Зофья Владиславовна и взялась подкладывать ему, уже сидящему, подушку, отчего раскатились в разные стороны, как латунные гильзы, коньячные осьмушки.

— Ни-ни-ни! — чему-то воспротивился он. — Н-никогда!

Голосом, будто потеплевшим оттого, что пришлось ей, добираясь сюда, почти бегом заворачивать за угол и догонять другой поворот улицы, Зоя Владиславовна, чудилось ему, не только причает к терпению, не только шивает, объединяя подробностями далекого прошлого, две судьбы, но и колдует незаметно: ее частый говорок, ее слова, ее облагороженная испугом интонация изгоняли последнее прикосновение озноба.

Несколькими минутами ранее, когда Тинин одеялом душил озноб, он чувствовал себя самым несчастным человеком, изгнанником Москвы и едва ли не изгнанником Львова, а теперь няня неустанно сыпала вестями далекой поры и, становясь в его глазах связной всех близких, всех ушедших Тининых, будто изгоняла не только эту эфемерную лихорадку, но и самые мрачные мысли его, будто пыталась обратить его взор к родному гнезду, к несокрушимой, времени неподвластной цитадели Тининых и, похоже, гарантировала ему совсем иное настроение, пока он здесь, во Львове, вблизи отчего дома.

— И что это еще пан выдумал? — нежно, несколько панически причитала она. — Будто я недолгоблывала отца... Если отец пана и не оставлял окно открытым, то я все равно входила в детскую, открывала и закрывала окно, стекло при этом позванивало, и я выговаривала отцу: так можно выстудить весь дом! Отец пана клал в коробку папироску, которую хотел закурить, и задумывался: он забывал, что не курил у распахнутого окна, и я понимала, что в это время вечером он думает о чем-то своем и опять собирается куда-то идти. И я так бесилась! То пойдет в свою компанию, а то и не в компанию?..

Каждый имеет свое гнездо, где он родился, и если он родился даже в лачуге, то все равно всю жизнь он памятью цепляется за свой забор, за свою крышу, и жалкая отчая лачуга, которую каждый живущий силою воображения навещает постоянно, для всякого ее сына что-то важное, бесценное определяет в его днях и снах на стороне и воистину становится пожизненной цитаделью. Спасение, благословение, завет, предостережение — все, все оттуда, из той жалкой лачуги, которая незабываема и на стороне. Каждый имеет отчий дом, а кто поверил в то, что отчий дом своими стенами ограждает от беды и в дальних краях, — тот былами детства, фотографиями, образами всех дорогих для него людей перенес отчий дом под иную кровлю и, может быть, стократ укрепил свою цитадель, которая далека от родных мест.

— Будто я недолгоблывала отца! — возражала Зоя Владиславовна так задумчиво и с такой грустной улыбкой, что становилось понятно: и улыбка, как память, может курсировать в прошлое. — Будто я недолгоблывала отца... Если я и выдумывала, будто он опять забыл закрыть окно, то для того, чтобы он вернулся домой. Он еще был дома, но уже был и там, куда собирался, и я возвращала его домой: надо посмотреть, не распахнуто ли окно, и вообще надо одуматься. Он отправлял свою папироску с золотой ленточкой посередке в коробку,

где было много крошек табака, много просыпанных крошек, на целую папироску, клал коробку в карман серого пиджака, поправлял галстук в точки и замечал меня. Мне надо было, чтобы он вдумался и заметил меня, и я выдумывала про окно, про кофе, который он оставил в жестяной баночке, а у той жестянки будто бы соскакивает крышка, сама вдруг возьмет и соскочит с жестянки... Много чего выдумывала, а все затем, чтоб... Я сама жила как бабочка. Летела на огонь!

Мы все летим на огонь и обжигаем крылья. Тянемся друг к другу, жертвуем и ошибаемся, но что поделаешь, если все мы ищем тепла, сердечности, нежных слов? Уезжаешь из Москвы в надежде развеять вину дочерей на холмах Прикарпатъя, находишь адрес своего детства во Львове и понимаешь, что пора возвращаться домой, где отчий дом юных дочерей, — пора возвращаться туда и там затевать проповедь для тех, у кого есть отчий дом в Москве.

— Будто я недолюбливала отца! — в третий раз начинала клятву Зофья Владиславовна. — Если я замечала, что распахнуто окно, то я и должна была сказать, потому что мама уже не могла сказать. И я дала слово себе: куда жизнь ни поманит, а буду за вами смотреть всегда глазами вашей матери. Сыновья вырастают и не знают, что даже потом, когда матерей уже нет, за ними все равно следят матери. Это великая загадка, пан! То глаза родственников, то глаза жены — а все это, если хотите знать, глаза матери. Вот последние годы я за вами смотрю и буду смотреть уже всегда отсюда, из Львова, где ваше гнездышко... И что у вас происходит дома?

Это была, кажется, первая за многие годы весть, которая не вызвала опасений: коль маминым взглядом будет смотреть издалека Зофья Владиславовна, то можно и не бояться, что этой родственной связью, как булавкой, окажется он приколотым к определенным обязанностям. Трасса Львов — Москва уже подкидывала ему знакомые обстоятельства жизни, он спрашивал у себя няниними словами, что же у него происходит дома, прислушивался к тому, как звучат едва ли не все углы его квартиры музыкой, словно каждый угол в отдельности восхваляет его отъезд, спохватывался и напоминал себе о том, какую горькую усмешку вызывал у него этот праздник, на который и он внезапно нагринул, почему-то убеждал себя в том, что теперь его возвращение тоже будет отмечено музыкой, каждый закуток квартиры будет сладкоголосо вопить о его появлении и о том, как он стал любимым за время разлуки, и мечта о хорошем доме подстраивала ему невиданную встречу, дополненную прозрением всех близких, их исповедальным раскаянием, и сулила вздох облегчения хотя бы в это мгновение.

А завтра!..

МОСКОВСКИЙ ШАНСОНЬЕ

1

Сизый, лети, голубок,
В небо лети голубое.
Ах, если б крылья пожаловал бог,
Я б полетел за тобою.

2

Но перейдем к прозе. А то опять станешь пытаться себя извечными вопросами: какой еще бог, какое еще притяжение земное, которое ты проклинаешь в собственной песне? Значит, перейдем к прозе, подумаем о насущном, о суете, о мелочах жизни? Нет, певец, нет и нет! Уж если поешь об уделе человека, о судьбе, о вечности, то живи не так благополучно, как все, а страдай, испытывай сорокалетнее сердце каждодневными перегрузками, погибай от волнений, от любви, от неразрешимых вопросов, и все же пой о городской птице, о тех, кому дано так незаметно взлетать, и все же сам живи, как птица с Уланского переулка.

Да, ведь и в самом деле это пристанище, эта художественная мастерская в Уланском переулке на последнем этаже — словно голубятня: полукружья окон почти на уровне низкого сводчатого потолка, а одно из окошек наклонное, так что облака, твои обожаемые белые облака, иногда стоят над удобным этим наклонным прозрачным люком. И лети, лети из Уланского переулка, мчись в такси, переполненном твоими друзьями, широкоплечими громилами, лети по краски, по холсты, ищи для братьев-художников колонковые кисточки, отзывайся на их беспорядочные просьбы, уговаривай крашеную дуру вернуться к бородатому дураку, устраивай в этом хрупком мире согласие, спохватывайся, что пропадают бездарно твои дни и здоровье, что свиток жизни разворачивается так быстро, и тут лети к юношам, к студентам, к бесребреникам, к мечтателям и пой, перебирай струны и пой о самом-самом, а потом прилетай в Уланский переулок, складывай крылья и с закрытыми глазами торжествуй, что песни твои чудом вылуцились из оболочки сорока лет жизни и оставили внизу, на земле, презренный житейский опыт.

Сонный от пения, усталый донельзя, все еще потный, с болью в горле, как при ангине, с ноющими от долгого брэнчания пальцами, Бач сидел, сторбившись, словно все еще находясь в автомобиле, на краю живописно-старой тахты в своей мастерской, сидел, смежив глаза, и никак, никак не мог отрешиться от чувства, будто он все еще на студенческой сцене, на собственном концерте. И зал полон, духота, и уже все песни на исходе, и вдруг опять рукоплескания, белые руки похожи на бесчисленные ростки картофеля в погребке, и просят в голос: «Женя, Женя, еще!», и опять поешь, ни горла, ни сердца не щадя,

и лишь одно опасение: песни на исходе, всего сорок четыре песни написал за всю жизнь...

И не только написал, а спел, спел! Ну, а последняя и была о сизом голубке, о свободе полета, о тяжести земного притяжения, и когда он спел ее, самую главную из всех, самую свою любимую, началась в зале буря, и под шумок он исчез, и вот он здесь, все еще живой после такой страды, и как удивительно, что удалось бежать, обойтись без студенческой водки, и как странно, что не было на вечернем празднике голубоглазого друга Даньки из Москонцерта, и как приятно все же получить передышку и узнать застеленную драным пестрым покрывалом тахту, вытянутые в одну линию смежные комнаты жилья — мастерскую, кухню, ванную, оказаться к полуночи в своем гнезде.

Что это — слава, известность, просто бум? Что значат эти шквалы, бури после того, как тихонько споешь под гитару? Или это совпадение чувств и мыслей, отзыв на то, над чем бился ты сам — а вернее, вовсе не бился, а жил, размышлял и рассказывал о себе под гитару?

Ах, шансонье, московский шансонье! Ведь и не ждал, что выпадет нечаянный успех, ведь хлеб твой — это графика да живопись, ведь столько учился у мастеров, столько красок и холстов извел тут, в этой голубятне, столько тоски, веселья, мрачного юмора, безнадежности и надежд вложил в свои песенки, напеваемые между делом, как вдруг успех: именно песенки, именно размышления под гитару так необходимы всем. И было бы понятно, если бы только юнцам ты пришелся по нраву, юнцы ведь и сами сочиняют, а то и студенты, и пожилые мужи внимают тебе, зовут даже и в такие круги, о которых прежде ты и не помышлял. Что ж! Всюду и всем страждущим он раздаст этой пищи, всюду он готов прийти для чего? Да для того, чтобы совпали настроения и чувства! И всюду, в любых кругах он так и будет появляться, не заботясь ни о костюме, ни о внешности: курчавый, словно нарочито взлохмаченный, полуседой, в этом изысканном, в этом плебейском свитере грубой вязки, висящем кольчугой на узких плечах и не обтягивающем плоский торс. Да, всем будет пища, всем будут песни, пока поется, и как жаль, что только сорок четыре песни, а где же новая, где же сорок пятая?

И тут он пробудился. То есть он и не спал, а лишь приходил в себя, сидел с закрытыми глазами, в голове стоял шумок, шумок, а тут он вдруг пробудился, обвел бессонными глазами изгвазданные красками полы, заставленные рамами углы, увешанные в два ряда гравюрами под стеклом серые стены и всполошился: а нужна ли так срочно сорок пятая песня?

И моментально ответил: нужна! Правда, через минуту он с иронией подумал примерно так: ну вот, мало ему сорока четырех, мало ему того, что так естественно вылилось в слова и облеклось в напевы, а теперь начинается гонка под шумок, теперь планирую, о чем бы спеть еще, теперь твори новую песню, если ты шансонье.

И снова холодно подсказал себе: нужна и новая, не важно какая там по счету. Нужна, только она еще не созрела, но нужна, нужна! Потому что, если рассудить, то, возможно, пока не самая главная песня о сизаре, о свободе полета. Вот у Булата есть главная, и неизвестно, какая главная для него самого, и неизвестно, какая любимая для множества его почитателей, а ему, Бачу, ближе всех о последнем троллейбусе, подбирающем одиноких, заждавшихся, соскучившихся по теплу. И у Володи, рано ушедшего из жизни, тоже есть блестящая и навсегда главная песня о судьбе, о непокорных конях судьбы. Если припомнить, то ведь здесь, на ободранной этой тахте, обмирал от восторга, слушая Володины вопли, самый нежный, самый тонкий лирик среди писателей, славный на весь белый свет Юра. Как вскакивал Юра с тахты, как наливал полнее стакан, как обнимались они с Володей потом!

Шумок, привычный шумок концертов, вовсе улетучился из головы, был собран Женя Бач и доволен тем, что не поехал к приютившим его друзьям в Филю, на Кастанаевскую, а сразу после концерта метнулся к метро, вышел на «Тургеневской» и в темноте московской полуночи поспешил в свою голубятню. Вот останешься один, без друзей, о которых ты и слышать не слыхал еще года два назад, подумаешь о превратностях своего творчества и вдруг решишь в полночь, что не важно, в песнях или в живописи тебе выпал успех, а важно выразить всю свою суть. Смятение ли, радость, тревога, крик души — все это твое, твое, шансонье!

Только почему так настойчива мысль о новой песне, о чем-то главном, еще не спетом тобою, о том, что у других есть замечательные песни, а ты пока не сложил?

Рывком он поднялся с тахты, вроде бы заурчавшей от резкого движения, поставил варить кофе в восточной джезве, потом вернулся послушать, смолкла ли старинная пружина тахты, и лег навзничь, подложив руки под голову, а наутро обнаружил: и лампочка горит, и в окна светло, и вся мастерская пропахла жженым кофе, и спал-то он в концертном свитере.

3

Когда ты бросил жену или она тебя покинула и когда взрослеет в одном городе с тобою подросток, сын, сообразительный человек, живущий, допустим, у матери, но дружащий и с отцом, то он, мальчик, становится невольным передатчиком нежности меж отцом и матерью. И пускай не видятся отец да мать, пускай сидят в разных углах Москвы, а сын все возит нежность из одного пристанища в другое, и эта нежность то ли дает вам надежду, то ли гасит хотя бы на время вражду.

Сын, четырнадцатилетний человек, начинающий художник, первый пробудил его телефонным звонком, и Бач, слушая родной баритон, просьбу мальчика приехать после уроков в мастерскую, понял, что день начался прекрасно и что звонок принес вдохновение.

Непосвященным людям кажется, будто каждый, кто сочиняет или рисует, непременно должен с девяти утра браться за кисть, за перо, и никак не понять непосвященным людям, что весь день может человек не браться за кисть, за перо, а тем не менее сочинять, работать весь день.

В самом прекрасном настроении расхаживал он по анфиладе комнат: денег не было и не будет, можно оставаться спокойным, а песни слеты, и, может быть, еще одна, самая бесценная, пробьется из немоты. Да, песенками пробавляется, спасается художник!

Тут он и вздохнул, взглядом математика окинув все углы, все стены мастерской и прикинув, что холстов, написанных маслом, да и гравюр, у него никак не больше, чем песен. Да, ведь были беспросветные месяцы, годы, кисть не шла на цветное масло, все написанное прежде казалось обыкновенным, посредственным, а жена требовала твердого заработка, и он неделями таился от жены в этой голубятне, бездельничал, размышлял под гитару, что-то напевал, как вдруг в один прекрасный день стало известно, что он вовсе не бездельничал, и песенки, разнесенные по Москве друзьями-художниками, уже и дальше Москвы разлетелись. Все вдруг стали петь его куплеты, время пришло такое, когда гитара утверждала свою искренность, и среди тысяч других песен, сочиненных безымянными шансонье, так выделились, так прихлыли по душе его песни. Подумать только, в какие мрачные минуты он их сочинял, и как подхватил их поющий народ, и как прояснилось вдруг для него то главное, что он искал и в живописи и что наконец почти нашел! И ничего не поделаешь, если лавры шансонье легли на ворот твоего повседневного свитера. Может быть, и сказал он людям нечто именно песнями? Ведь вот и Володя, игравший в театре, снимавшийся в кино, все же знаменит на весь мир своими песнями.

А, вот и звонки! Телефонные звонки никогда не мешали ему, он переносил аппарат, если нужно, на тахту, или на рабочий станок, он знал, что теперь нужнее друзьям, чем в прежние годы.

Алло, Прага, алло! Что, что? Кто там крутит ролик с моей песенкой? А, да это Иржи и Мирек напевают дуэтом вместо приветствия, напевают о свободе полета, и возвращается сизарь из Праги в Москву, и можно представить, какие уморительные рожицы в этот миг у дружков из Праги, и только непонятно, почему они с утра пьют сухое. А может, у них сейчас другое время и пора быть хмельными?

Ну, пошутили Иржи с Миреком, остался в Праге дуэт, а он — здесь, где и сочинил про сизаря, и вот можно, пожалуй, подумать теперь, почему так хотелось вчера уйти от всех, почему так настойчива и тревожна была мысль о новой песне, о том, что нету, нету пока главной песни. А уже сорок, уже сына скоро женить, уже мрачные мысли, безнадежный, лысенкий ровесник доктор Леша Балло ходит пользоваться...

Как вдруг опять звонок — и тоже издалека, почти мифический звонок из студенческой поры, и незнакомец, напоминая о прошлом, о чем-то нереальном, так панибратски журит, словно расстались вы с ним вчера, а не двадцать лет назад:

— Нехорошо, Женя, забывать однокурсников. Это я — Коля Гончик. Помнишь такого? Вернее, мы втроем — я, Клиничевский из Краснодара и Игорь Кочкарев из Москвы. Помнишь таких? Мы с Клиничевским тут на совещании, разные дела днем, а вечером... Слушай, Женя, в Минске хлопцы крутят ролики, собираемся в мастерских и слушаем, все обожают Женю Бача. Я сначала все сомневался, что это ты, думал, однофамилец, а Игорь Кочкарев — он в Москве, ты, наверное, знаешь — так мне и говорит: «Женя Бач запел. Но не запил». Короче: договорились?

И трубка стала посылать сигнал космического спутника.

Договорились! И вообще веселые дела — вспомнить о той поре, когда каждый из нас был великим художником: талант лишь пробуждался, а мания величия уже владела каждым.

Хорошо по утрам! Бродишь по анфиладе, свидетелей нет, бродишь среди холстов, мысленно отвергаешь ранние из них и признаешь нынешние, строчку какую-то, как леденец, все пробуешь на вкус, все бормочешь, напеваешь, работаешь вовсю, хотя и без кисти, но так легко, так азартно работаешь!

С чашкой свежего кофе он остановился перед незаконченным холстом, перед «Письмом», перед этим полотном, наиболее выразившим ту манеру, которую он, как ему непреклонно думалось, наконец-то обрел, — ту манеру, где совмещались фотография и условность. Да, да, фотография, натуралистичность и условность! С некоторых пор стал равнодушен он к черно-белым позитивам, к выцветшим фотографиям, находя в них особенные подробности, и вот проявился замысел «Письма», вот стоят поодаль друг от друга, на берегу ночного моря, разделенные лунной, прожекторно-светлой, сверкающей полосой мужчина в солдатской шинели и женщина той военной поры, в старомодном пальто с приподнятыми ватным слоем плечами, — стоят, смотрят, видят и не видят друг друга. «Письмо». Будет ли письмо, а потом встреча — кто знает! Один из приятелей обронил, помнится, что эти двое никогда не встретятся, они уже на берегу вечного моря и меж ними лежит полоса вечного лунного света. Угадал приятель, угадал!

Каша меж тем варилась на плите, пахло в мастерской, словно в приличной квартире, да и как же иначе: ведь сын Игорь и здесь должен чувствовать себя как дома. А то вдруг страдать будет, переживать сознательный подросток за своего бездомного батю, покинувшего настоящий дом и поющего теперь по чужим квартирам.

Только не ожидал он, что сын так рано придет из школы, и, впустив этого пенца, он некоторое время смотрел в его серые, теплые от

родственных чувств глаза, вскользь окинул взглядом всю тонкую фигурку, точно сравнивая себя и сына и запоздало удивляясь: оба выросли, оба невысокие, но оба выросли, выросли. Черт возьми, в глазах Игоря и неуловимый огонек вдохновения горел, только художник может понять художника, и Бач догадался, что сыну легче всего рисуется здесь, где по углам, по стенам — созданные поющим батей образы.

— Работать будешь? — профессионально спросил у сына.

Сын метнул влюбленный взгляд на мольберт.

Что ж, каждому свое: у старшего художника нет дома, у младшего — нет мастерской. Но когда мы объединяемся, подумал Бач, у нас и дом общий, и мастерская общая, и когда мы вдвоем, то как-то увереннее чувствуешь себя, сильнее, жизнь опять нравится.

В молчании, предвосхищавшем творчество, они ели кашу из овсяных хлопьев.

Если откровенным быть, очень смущало его, что в сыне проявились способности к рисованию. Представишь свои метания, долгие поиски, ничтожный результат к сорока годам, творческие неудачи — и такой спокойной, правильной, гармоничной покажется жизнь инженера или врача. И хотелось, чтобы сын не соблазнился окончательно творчеством, а пошел бы учиться на врача, допустим. Вот как Леша Балло, доктор, облысевший рано. Он и доктор, друг человечества, он и рисует на досуге. Пускай дилетант, пускай бесталанен, да все же такая у него благородная профессия, и еще неизвестно, кто более счастлив в жизни: тот, в ком искра божья, или тот, кто обучен ремеслу. Что дороже: всю жизнь мучиться поисками или просто работать, зная праздники, воскресные дни, семейные торжества?

Но когда сын сел за мольберт, Бач все-таки почувствовал гордость за своего подрастающего художника, тут же опроверг схему нормальной, упорядоченной жизни, тут же вспомнил то особое чувство, знакомое всем, кто творит, то чувство беспредельной радости, приходящее в конце работы на смену мукам, нервозности, неудовлетворенности, и отмахнулся от родственных забот: пускай и для сына тот же жребий, те же огорчения и поиски, если уж у них общая мастерская...

Вот и ходатай. Алексей Балло, спаситель человечества, принес тающий снежок на берете, жгучее любопытство во взгляде странных, с очень широкими зрачками глаз, привычное сочувствие в первом же, с насюка, вопросе о здоровье.

Чтобы сын не привыкал к лицемерию взрослых, Бач увлек врача на кухню, где стоял запах диетической каши, и перешел на шепот.

Стоило однажды пожаловаться доктору на усталость, головную боль, как тут же Алексей Балло принялся опекать, требовательно вопрошать по телефону о самочувствии, наносить профессиональные визиты, выпрашивать больше всего о самом потаенном, о том, что занимает мысли и что на душе. Врачи любят устанавливать синдромы.

Наверное, все врачи привыкли не только соваться пальцами в запретные части тела, но и лезть в душу, и Алексей Балло был таким.

Ну, поскольку в этот день юный художник в мастерской, то и нечего вести неосторожные разговоры, и вскоре Леша Балло подхватился, не получив на этот раз никаких жалоб, вскоре оказался за дверью, и Бач, слушая его шаги по лестнице, понимал, что врача, балующегося живописью и, может быть, тайно помышляющего о славе живописца, охладило хорошее самочувствие знакомого ему художника. Даже о лифте забыл благодетель!

Зато лягнули на площадке шестого этажа дверцы лифта, шум послышался в растворенной кабине лифта, топот ног, а если вознеслась камера лифта до конца по вертикали, то это лишь к нему, поскольку нет на площадке больше квартир, а только мастерская.

И он открыл незапертую дверь, и предстала тройка старых воробьев, вспомнивших о том, что двадцать лет назад они были студентами, такими молодыми, такими веселыми, такими гениальными...

4

Без утайки шел разговор о дарах, преподносимых жизнью, и в будущем, в ближайшем будущем распахивались перед Бачем дверцы автомобилей и просторные квартиры: гости настаивали на путешествиях, и если окажешься в Минске — то волшебным образом откроются двери четырехкомнатного чертога, отведенного для повседневной скуки, а потом, в этом же доме, на первом этаже, и двери не менее шикарной мастерской, где ночует вдохновение, а если в южную сторону покатишь, то встречать будут и в Краснодаре, и на всем пути от Краснодара до Черного моря или Азовского, встречать нектаром виноградной лозы в разных летних приютах, бунгало, белых хатах и просто в палатках, пока не откроется на морском побережье восхитительный хуторок...

Он хотел узнать студенческих бунтарей в седовласом и располневшем Коле Гончике, в поджаром Клиичевском, но это нелегко за давностью лет, и он переводил взгляд с одного на другого, привыкал к печатам времени на их лицах, находил в их житейских победах какую-то неясную надежду и на собственную удачу и откровенно сочувствовал, что двое из друзей пришли к порою процветания несколько потрепанными: один поседел, другой польсел, да и морщины уже, морщины. Сорок лет, братцы! И все равно двое из однокурсников без удержу хвастали достижениями, и лишь москвич Игорь Кочкарев, не имея иной возможности поднять свой престиж, предлагал абстрактные тосты. Ну, хоть с Кочкаревым они тоже десятилетиями не виделись, но слышал он о нем больше, чем о других однокурсниках, разъехавшихся по стране добывать славу и блага, и даже знал пошлые подробности его семейного краха. Тощенький, точно лишь теперь

сошедший со студенческой скамьи, приятель этот ему нравился тем, что он даже в худшие времена жизни, при полном отсутствии недвижимого имущества, все равно предлагал оптимистические тосты.

А ведь в чем коварство закуски? Цепляешь вилкой, допустим, кружок соленого огурца — и вспоминаешь собственный погребок в Минске, расположенный в гараже и богатый всяческими бочонками с солениями. Ну, коварство закуски! И другой, южный гость пустился в перечисления вкусных яств, годящихся для сбора, для компании студентов, отсутствовавших на попойках двадцать лет, и лакомился южный гость сейчас будто и не пресловутым соленым огурцом, а моченым яблоком или моченым арбузом... В сорок лет, все побеждая да побеждая в жизни, знаешь цену всему.

А где же облака, птицы, парение духа? Где высокие облака над полукружьями московской голубятни?

И, понимая, что песни тоже идут под водку, он взял красную свою гитару, чтоб не так скучно было от сведений, которые он словно бы ждал двадцать лет. Двадцать лет, вся вторая молодость, все лучшие годы жизни, полные драм, сражений и поисков, поисков, а никакого вздоха по ушедшей молодости, по забытой дерзости, по любви последней — ничего подобного в застолье победителей, сорокалетних пенсионеров!

И надо петь. Чтобы не было у однокашников сомнений, поет ли он, Женька Бач, или его однофамилец, и пускай понесется по провинции миф о том, как один художник разменял свой талант на песенки.

Оригинальный человек и слушает по-своему, и воспринимать умеет, и, глядя на лица счастливых, остающиеся счастливыми, хотя пел он и не о вульгарном счастье, Бач припоминал лица искренних слушателей: как в свое время, наверняка принимая его песню про царя Ивана, кривил в усмешке рот с жизнелюбивой складкой знаменитый кинорежиссер, которого недавно хоронила вся Москва и оплакивала вся Россия; или как Юра, лучший русский писатель Юра, вскакивал обниматься с другим певцом, потрясенный его хриплыми воплями о судьбе.

А тут, в застолье, один лишь Кочкарев стал грустным, и потому для него, для него брэнчала гитара.

Только споешь песню — как необходимость переходить к прозе: сдуру он перенес телефон на кухню, и приходилось переходить на прозу телефонных разговоров. И надо же: такие несущие смущение разговоры, однообразные просьбы...

Когда ты хоть немного знаменит, все уверены в твоём богатстве, и находятся смельчаки, готовые запустить лапу в твой карман, по их мнению, всегда переполненный. Ну, этого, первого приятеля, откровенного бражника, он быстро отшил, не столько из принципа, сколько по невозможности удовлетворить его скулеж. А второй, мальчик, студент, пугающе талантливый для своих юных лет, пока и не просил,

а мямлил, и это было для Баца неким чудесным превращением: как будто все они, бывшие студенты, собравшиеся после столь длительного перерыва, вызвали из прошлого свой общий для той поры облик нищего студента, и вот юноша, подстегиваемый крайней необходимостью, мямлил, мямлил... И как тут не узнать дальнего родственника!

— Саца, приезжай! — потребовал он. — Как, ты уже здесь, на «Тургеневской»? Тогда... через пятнадцать минут. Через четверть часа, слышишь!

Да, то поешь, то попадаешь через четверть часа в самое нелепое положение: у самого — ведь нет, деньги за вчерашний концерт еще не выплатили, даже сына Игоря не смог принять как следует...

И тогда он с гитарой наперевес шагнул из кухни в мастерскую, взбодрился, увидев на привычном месте тот графический лист под стеклом, за который, помнится, Булат однажды сулил избыточный гонорар, а он не мог даже Булату продать, поскольку оригинал, а отписок, копий больше нет.

Итак, этот лист, пленивший Булата, «Набережная в Волгограде»: в несколько анархических позах ликующие босые люди летом, а под ними, под их ступнями, лежит в вечном раздумье тот, кто мог бы тоже, если бы не война, ходить босиком, пить газировку, приятно бездельничать по воскресным дням.

Что ж, коль предлагать собратьям по искусству что-нибудь, то лучшее, и нечего смущаться, превращая застолье в минутный аукцион. Художник, хоть и певец вдобавок, живет, как растение, зависящее от погоды: то дождь — и ты свеж и зелен, а то засуха, мор.

Он осторожно снял и понес в кухню застекленные образы и, выждав некоторое время, спросил неуверенным тоном ученика:

— Ребята, нравится?

Дружные крики:

— О!

— А!

— Сила!

— По дешевке продам, — воспрянул он и с надеждой взглянул на минского туза.

Знал бы он, что после этого так быстро распадется компания, шедшая к нынешнему застолью двадцать лет! Конечно, не сразу разбежались однокашники, не тотчас понеслись в гостиницу, спасаясь от непредвиденных убытков, а все же вскоре лифт унес их вниз, и осталось впечатление, что еще не обо всех добычах поведали они, хотяющиеся за счастьем.

Гончик с юморком обронил:

— Такую раму, брат, опасно в поезде везти. Или похитят или еще что. Под стеклом же!

— Да-да! — подхватил Клинчевский. — А я в самолете...

Нашли же выход! Как будто нельзя оставить стекло в московской мастерской, а лист свернуть трубочкой...

— Знаешь, ты лучше привози свои картины сам. К нам привози, в Минск,— уже по-деловому, без юмора предлагал Гончик, глядя на него честными голубыми глазами навывкате. — Я помогу устроить выставку, от меня зависит это.

— Коля, устроишь? — требовательно воскликнул Клинчевский для пушного эффекта.

— Я же сказал,— с мягким намеком на власть ответил минский влиятельный гость.

Да, аукцион не состоялся, в сорок лет приходится краснеть перед матерыми, а через несколько минут краснеть и перед юнцом. Вот понедельник, вот черная пятница, вот тринадцатое число! И какая бы там ни нужда, а знать надо прописные истины: что не имеешь права обращаться с просьбой к старым знакомым даже один раз в двадцать лет.

И тут очень удивил его тот, за кем никогда не числилось больших побед, кто не только внешним видом, но и отсутствием житейских завоеваний напоминал паренька, студента.

— Я беру. Мне это очень нравится,— несколько смущаясь, но твердо сказал Игорь Кочкарев.

Гончик и Клинчевский взглянули на Кочкарева с любовью. И стали поспешно собирать вещи, прощаться, словно могла в этой московской мастерской возникнуть еще одна подобная сложная проблема.

А выйти вовремя им не позволил новый гость, жданный гость, очень высокий, как все нынешние юнцы, с впалыми щеками Саша — тот самый, из-за которого едва не попал впросак он, жалкий шансонье Женька Бач.

Что-то удалось получить из руки Игоря Кочкарева, что-то удалось незаметно вложить в холодную руку юного художника,— и можно спровадить всех вместе, пожалуй: и старых знакомых, и юного приятеля.

— Вот идите все вместе, глядите по дороге на Сашу и помните: сама ваша юность прилепилась к вам, идет с вами,— постарался он выглядеть веселым напоследок. — А что? Какими мы были сами? Вот ваша юность, побеседуйте с нею по дороге, спросите у нее совета. Не пугайтесь этого призрака юности, выслушайте ее мудрый лепет...

Стоя в дверях, на возвышении, он провожал всех взмахом руки, как с борта самолета. Светелка лифта захлопнулась, и устремились вниз, по вертикали, юность и сорокалетний опыт.

Ба, а ведь Игорь Кочкарев и не собирался бежать вместе с одноклассниками!

— Со стеклом или без стекла заберешь? — спросил он дерзко у Кочкарева, кивая на его приобретение. — В самолете тебе не лететь, а вдруг в такси разобьешь?

— Пока оставлю у тебя. Вдруг тебе понадобится на выставку? И все равно мне некуда везти.

Понимая, что это щедрость бывшего студента, похожего на студента и теперь, что это его подарок, он шлепнул его по плечу и лихорадочно, словно опасаясь, как бы и этот однокашник не сбежал, принялся говорить:

— Да, я слышал, мы не видимся, но я слышал, что тебе некуда везти. Такие суки, эти жены. Ну, ничего, сына моего здесь нет, можно откровенно. Да, так послушай: о чем мы так упоенно болтали? Я ведь, когда вы втроем позвонили, думал: ну, начнется у нас о самом настоящем разговор. Столько не виделись! Послушай, Игорь: вот они пришли, ушли, а у меня такое на душе, такое... Будто мы все продали свою юность! Мы же умнее были тогда, в те годы, когда учились. Мы так спорили, мы так надрывали глотку! Нет, Игорь, мы умнее были, умнее. А теперь... Подумать только: сводим счеты с жизнью, у каждого перечень успехов. А где наша дума о бытии, о высоком? Нет, мы с тобой обо всем этом должны непременно, непременно!

Так он убеждал москвича, который отвлекся и рассматривал стены, и очень хотелось ему разговора, прерванного жизнью еще со студенческих лет, и очень хотелось ему найти в старом знакомце единомышленника.

5

Странно, что к вечеру, когда Кочкарев пустился искать ночлег, а сам он остался в мастерской сторожить свое вдохновение, ему почудилось, будто вчера или сегодня он что-то новое напевал, что-то интересное, бьющее по нервам, и он пытался подробнее припомнить вчерашнюю институтскую сцену или сегодняшние встречи, но все оказывалось перепетым, и тогда он опять увязал в подробностях пережитого, подбирал крохи дружеского пира, маленькую повесть детства сына перечитывал, свой захватанный пальцами роман пролистывал, толковал заново жизнь залетных гостей — и вдруг возвращался к обманчивому чувству, точно пополнилось его музыкальное собрание.

С этого предчувствия, предугадывания обычно все и начиналось, и было ли тебе плохо, катился ли на тебя ком неприятностей или свеча радости освещала сумерки четвертого десятка лет, а день меж тем оборачивался новой и потому самой лучшей песенкой.

БЕГАЮЩАЯ ПТИЦА

Пульсация Москвы будет чувствоваться и за пределами Москвы: то как будто никак не иссякнет шумок автострады, то долго не отпустит нервная готовность, позволяющая аукаться заботе с заботой. И лишит своего плена Москва неохотно, с постепенными уступками:

за кольцевой автомобильной дорогой ветер повеет не чадом, а нектаром, где-то за Мытищами твой трогательный вздох облегчения словно переключит городские ритмы на дачные, а за Болшево обещанием покоя придет надежда, что удастся на даче разложить семидневный веер и призадуматься над последней неделей жизни.

А пока! Пока Кунывин привычно принимал тяготы пятницы: вновь и вновь склонялся над первой страницей блеклой машинописи того проекта, о котором уже в понедельник надо сказать кратенькую энергичную речь, но тут телефонный звонок словно вкраплял вынужденное многоточие посреди текста, Кунывин ответами пополнял диалоги с соседним кабинетом, где тоже добрая дюжина научных сотрудников, и потом опять приникал к странице, недоумевая, отчего же не стыкуются слова, брал голову в нежные тиски ладоней и будто ограждал себя от остальных людей, уповая хотя бы на получасовой вакуум, да разорванный текст все равно преподносил многоточие, и Кунывин понимал, что теперь лишь перекур поможет ему связать фразу с фразой и уже на исходе пятницы, получается, пристегнуть к ней понедельник. В коридоре дымок от его сигареты, показалось, уже завивался в дачную сторону, где будут встречать на перроне жена и десятилетний Витя, и Кунывин страдальчески улыбнулся: ожидание совсем иной жизни, чем в Москве, определяло один и тот же маршрут и даже курить у окна заставляло лицом к Ярославскому вокзалу.

Но рано, еще рано бежать из Москвы! Опять вернуться в кабинет, опять взять в нежные тиски ладоней голову, опять подумать о том, как вылучивается из пятницы понедельник...

Кунывин готов был вернуться в кабинет и заплатить пятнице усердием, как в эту минуту две соседствующие двери выпустили непременных представителей институтской суеты — Митько и Тушак, которые переглянулись братским взглядом и одновременно выстрелили полудюймовым огоньком из зажигалок. Ах, эти двое соглядатаев, успевавшие побывать на всех коридорных сходках и всюду, где затевались прения, пристраивавшие огонек своих зажигалок! Чем далее Кунывин разменивал недели на прибывающее раздражение, тем успешнее понимал таких общительных, как эти двое. Они подхватят твою шутку и продлят минуту веселья, они и горестную твою минуту встретят добрыми улыбками, они... А ты потом будешь недоумевать, как удалось проницательному руководителю твое сомнение, зародившееся в пятницу, распознать в понедельник еще до того, как ты произнесешь свою убийственную речь. Вовсе не братья, Митько и Тушак были похожи не только широко расставленными маленькими глазами, но и манерой слушать не мигая, и вот теперь, в напряжении встречая немигающих братьев, он с пристальностью портретиста смотрел в цепкие глаза одного и другого и как будто впервые в жизни открывал, что лицо курносенького Митько до поры

изжевано временем и завоевано легионом морщин, а у собрата его Тушака лицо такое грубое, пористое, словно он сбивает по утрам не щетину, а ежиные иголки.

Окурком, раздавленным в кулаке, он ответил не только своей напряженности, но и вопрошающим взглядам компаньонов: дескать, сгорела моя минута передышки, и пора везти дальше поклажу пятницы. И только спасшись от соглядатаев и оказавшись вновь в кабинете, понял, как омрачает любое соприкосновение с этими сорокалетними друзьями, пускай даже и отделался всего лишь жестом.

А все же отпустила пятница его на волю! Изымаемый окном стремительной электрички пейзаж прибавлял славы июню, захватившему из мая цветущую черемуху и пораскидавшему ее по тенистым да волглым местам. Как будто для всех, кто не был свидетелем апогея весны, июнь приберег и прелестей мая, чтобы на пишестве природы замечательно оказались рядом две лучшие поры года. Так июнь превратит лето в долгое очарование, подумал Кунывин. Да и должно быть путешествие к сыну дивным рейдом в край цветов, птиц, бабочек — в тот божественный мир, который почему-то всю неделю снился Кунывину, как будто он хотел стать хоть на какие-то мгновения сверстником своего сына. Всю неделю он видел сон средь бела дня: где-то за пределами Москвы есть рощица, в которой пасется сумрак, есть бревенчатый дом, в котором всегда почувствуешь себя уберегшимся островитянином. И хотя рядом с этим чужим домом, где можно отвечат тихой летней жизни, соседствуют другие чужие дома, населенные, должно быть, и ворчунами, и приятными тиранами, но до поры до времени все они остаются милыми незнакомцами, и все лето будешь бродить этим человеческим оазисом, все лето будешь избывать ожесточенность снами о наемной дачке, каждое смуглое бревно которой прикусило строчку выцветшего, точно заиндевшего мха. Нам нужны острова, где мы хотя бы на лето смогли бы поселить сына и оградить от всего того, что сделало нас такими вспльчивыми. Нам нужны острова, дарующие иную жизнь. Вот почему и прошлым вечером, возвращаясь с позднего совещания и словно все еще видя невозможных этих братцев — увядающего с каждой весной Митько и приятеля его Тушака с таким пористым лицом, как будто оно имело следы исчезнувших ежиных иголок, Кунывин утешал себя тем, что уже через сутки сменится жизнь почти нереальным бытием в бревенчатом теремке, куда заказан путь посыльным соглядатаям с маленькими, широко расставленными глазками. В том несущемся в сторону полуночи пустынном троллейбусе от скорой езды знобило все сиденья, и они воздавали за озноб дребезжанием, переходящим в лягз, а Кунывин под эту сносную какофонию думал о том, как удастся ему хотя бы на выходные дни стирать из памяти опасных сослуживцев: десятилетний сын мог уловить, что какие-то загадочные

дяденьки невероятно бесят его в московской жизни, и приходилось этих малых с внимательными глазами каждую неделю своеобразно лишать жизни, что ли. Чтобы их не было и в помине!

На платформе, казавшейся асфальтированным плитком в этом паводке цветущей зелени, он так и не повстречал жены и сына и потому поставил начиненный московскими консервами портфель на скамью, избравшую своей формой вопросительный знак, необычайно раздавшийся вширь. Да тут же тронул по платформе, такой броской от битумовых заплат: он грозился жене совещанием, которое могло задержать сегодня его приезд чуть ли не до полуночи, но потом совещание совершило скачок на день вперед.

Бренчатый теремок еще не подарил ему ни минуты воскресной жизни, несущей нездешнюю умиротворенность в этой неправдоподобной иллюзорной загородной пустыне, а уж колдовской голос жены обозначил границы летнего островка сразу в трех измерениях.

Жены он пока не видел за липами, что давно сошлись в классическую аллею, а только слышал голос ее, Наташи, как она речитативом напевает свою материнскую просьбу на одной-единственной ноте «соль». Эти вечные зовы матерей, окликающих сбежавших из дому индейцев, разбойников, воинов! И Наташа тоже окликнула свое чадо: «Витя, домой! Витя, домой!» — но в избитом материнском мотиве не было ни озабоченности, ни тревоги, а как будто лишь желание голосом очертить пределы того островка, где обретается покой. И Кунывин, потрясенный тем, как не далеко, совсем не далеко летний заповедник от грохочущей Москвы, заслушался песенкой Наташи и определил: ровный, не превышающий одной-единственной ноты голос жены разбросал опознавательные знаки заповедной местности не только вширь и вглубь, но и ввысь, захватив определенную сферу.

Казалось ему, единственно ради того, чтобы еще раз услышать на близком расстоянии голос жены, который не только со всех четырех сторон разметит уголья радости, но и воздушную область над дачей поднимет до той высоты птичьего полета, где человеческий голос затихает, уступая щебету жаворонка, — показалось Кунывину, только потому и потянул он Витю сразу же на тропки прошлых прогулок, чтобы Наташа послала вдогон какую-нибудь просьбу, которая прозвучит все на той же удивительной ноте.

Хотя он тут же понял, что не только это указало ему путь за порог, на который он и ступить не успел.

В карих глазах Наташи все еще не растворилось чудесное состояние дачной жительницы, минуту назад окликавшей сына так странно, почти пением. А он, приехавший из Москвы, не только все еще видел недавнюю толпу у станции метро «Комсомольская», где почти каждый с примелькавшимся дачным рюкзаком, в котором, чудится, годами носили соль, соль и только грубую, кристаллическую соль, — не только все еще видел грозную лавину беглецов из города,

нападающих на электрички Ярославского вокзала, но и то скверное настроение испытывал, которое тяготило его в те неудачные дни, когда в коридорах института ни одной сигареты не выкурил в одиночестве, не столкнувшись с этими брюнетами Митько да Тушаком, которые знай постреливают огоньком из своих зажигалок.

И он, показав Наташе на портфель, что становился на воскресные дни передвижной съестной лавкой, и сделал такой жест, словно отвесил поклон тяжелой ноше из Москвы, тут же ладонью нашел теплую голову Вити и ступил на одну из тех тропок, что всегда переначивали его и обменивали напряженность на затаянный вздох облегчения.

А русский мальчик тотчас прынул вперед — как будто он тоже угадал желание своего отца вздохнуть наконец здесь, где никто не услышит вдоха, и как будто ему не только многое сказала эта напряженная, передающая избыточные нервные токи ладонь, но и сам он, десятилетний мужчина, уже заимствовал из опыта взрослых, невольно подслушав отрывки дачных диалогов, что всерьез ли, в шутку ли завершались тем афоризмом Кунывина, по которому жизнь — это сумма уловок во имя спасения собственной шкуры.

И все же Кунывин поощрял взглядом русого узкоплечего мальчика, словно торопящегося коснуться на бегу то елки с розовым стволом и нежными, лишь слегка зеленоватыми отростками, пришитыми природой к более темному, малахитовому ее убору, то березки, прикидывающейся все еще сестрой кустарника: пожалуй, сын улавливал и сейчас, что в нем не угаснет и до вечера пульсация Москвы. Да и не терпел Кунывин ту ложность отношений меж взрослыми и детьми, когда первый же твой нарочитый вопрос убивает искренность в маленьком человеке. Все должно быть наоборот: пусть спрашивает тот, кому еще неведомы разочарования, а ты при этом постарайся не вальть дурака. Или пусть молчание и разъединяет, и роднит вас, и пусть этот маленький человек понимает, каково менять сразу московское настроение на дачное. Расспросы и зряшные слова, обнаруживающие незначительный талант актерствующего отца, излишни еще и потому, что теперь, когда смотришь на этого мальчика, сделавшего праздником бег по тропе, тоже устланной травой, лишь стелющейся и точно бы растущей по горизонтальной линии, и когда видишь его то со спины, то в лицо, когда особенно отчетливо различаешь, что и русые, самые распространенные среди людей волосы, и узкие плечи с вздернутыми несколько выше обычного ключицами, и худоба, уводящая от атлетического склада, и серые глаза того густого равномерного оттенка, что характерен для грубой стали, — все, все унаследовано сыном от тебя, то понимание этого и позволяет поглядывать на сына в эти мгновения так, точно и не сын приплясывает на летней тропе, а скорее всего ты сам, ты, которому дарована упоительная возможность во второй раз начать с детства.

Хотя жена и не послала однотонного зова вдогонку, да помнил Кунывин, что услышанный четвертью часа ранее голос ее выстроил над теремком, на высоте птичьего полета, незримый потаенный свод. И Кунывин, твердо зная, где эпицентр дачной пустыни, отсчитывал десятки метров петлями затравенелой, примятым войлоком стелющейся тропы до подножия холма, где незримый хрустальный свод, замыкающий сверху синевой дачные владения, уже и снижается, пожалуй. К этому холму, добавленному природой для тех путников, которым выбирать меж безрыжком позади, у подножия холма, и речкой впереди, по другую сторону его, и принесли Кунывин с сыном свое молчание. Витя тотчас ринулся к близким ольшаникам, повторяющим любой прихотливый излом узкого, повенчанного на все лето с зеленью русла речушки, а Кунывин сел на возвышении, где особенно густы были колонии белого клевера, и удивился тому, как удалось и этим дружкам, Митько да Тушаку, занять местечко рядом. Эти клацающие вовремя их зажигалки, это умение дружков пополнять любую компанию, эти широко расставленные маленькие глазки одного и другого... Да, от напряжения, что ли, у курносенького Митько временами начиналась игра тика, и Митько мог в неподходящую минуту подмигнуть даже покойнику. И что так привязались эти тусклые сорокалетние пареньки? На них он, Кунывин, в институтских коридорах, на эфемерных слетах курильщиков, посматривал с грустной надеждой: вдруг в поздние их годы, свидетельствующие, как научились эти мужи с достоинством держать сигарету и подхватывать любую кулуарную мысль, будет каким-то чудесным образом перенесен в их полые души долгожданный гений изобретательства? Что так помнятся мастера стрельбы из зажигалок? И неужели только последняя досада, которую в нем возбудили эти вымогатели биологической энергии, вскрыла тайные помыслы компаньонов? Уже на исходе последнего часа пятницы, зажигая очередной огонек перекура, Тушак словно перехватил его, Кунывина, взгляд, устремленный по следу сигаретного дымка, завивающегося в сторону Ярославского вокзала, и стал начинать эмоциональным порохом патрон для верного выстрела: какие, дескать, в Подмоскowie лужайки эдема, и как напеминают холостяцкие визиты наши краткие побывки у жен, чей отпуск, чей праздник июня мы не можем усугубить, и как мы забываем о не использованных ранее или заслуженных зимою дополнительных днях отдыха, что теперь возвращаются к нам, переименованные из так называемых черных суббот, и как эти счастливо переродившиеся черные субботы можно было бы сейчас же, сию минуту выпросить у начальника отдела, чтобы отгулом перечеркнуть хотя бы понедельник, а мы, дураки, мы, глупцы! Словом, Тушак бил наверняка, чтобы он, Кунывин, перечеркнул свой будущий понедельник и отказался от возможного успеха на совещании, запланированного на понедельник,

и пока не окончательно сразил Тушак, Кунывин успел догадаться, куда метит Тушак своим патроном с психологической начинкой. А понять одного из заговорщиков, казалось, можно было легче, поглядывая в широко разведенные, привлекающие жутковатыми желудевыми омутками гляделки Митько, который ждал нетерпеливо и, не вынеся минутного ожидания, вдруг подмигнул. Кунывин не то чтобы выбирал, как попасть в западню или как перескочить через нее и приземлиться на берегу институтского понеделника, а как будто старался постичь драму каждого братца: и бог с ними обошелся как с большинством людей, и начальник отдела не нашел общительность каждого из приятелей разновидностью какого-нибудь таланта. Начальник отдела, жизнелюб и скептик, был из тех, кто понимал, что усилия всех психологов мира, добавлявших по крохе правды к учебнику психологии, могут показаться недостаточными ввиду загадки отдельного человека; и если начальник отдела охотно принимал информацию Митько и Тушака, ту информацию, где сочетались характеристики курильщиков, описания каждодневных мизансцен, кулуарные наблюдения, то этим он и ограничивал приносимую Митько и Тушаком пользу: по всяким важным делам, которые могли преподнести институту патент на изобретение, лидер отдела хотел выслушать мнение менее светлых коллег. И так, надо было Кунывину очередной замысел компаньонов трактовать как внезапный десант их дружелюбия, чтобы не показать, как моментально травмирует нас то, что мы правильно истолковываем. И как будто делая первый шаг по паркетным пядям в направлении кабинета, где маялся лидер отдела, он все же и в это мгновение подумал о тандеме сорокалетних гонщиков, о том, как для Митько и Тушака драма божеского невнимания наверняка сказывается вдруг свежей лишь потому, что на нее наслаивается и драма существования: по слухам, Тушак иногда изыскивал суточный доход из сонма бутылок, с которых смывы изумительные наклейки, а от Митько ушла его сухопарая жена с злым, ровным, неженственным ртом и скудными, гладко зачесанными волосами, цвету которых не позавидует и мышь, и теперь, когда серая мышка вернула себе девичью фамилию Беренщикова, Митько никак не мог прийти в себя, стало бывшее счастье для него постоянным испытанием с вылазкой светлых воспоминаний.

А меж тем, пока одному из Кунывиных все не удавалось распротиться с московскими соглядатаями, другой Кунывин резвился на зеленой подстилке холма, где лето метило аппликациями белого клевера эту округу на добрую версту. Другой Кунывин словно искал в живом заслоне кустарников вдоль речушки просвет, позволяющий протиснуться к затененной, наверняка с обильными смарагдовыми водорослями воде, но всюду густая поросль берега становилась преградой, так что мальчику приходилось вновь и вновь отбегать от берега на некоторое расстояние и бросаться к ольшаникам в ином

направлении, и этот играющий мальчик как будто был он сам, Кунывин. Сын унаследовал его поджарость, цвет волос, повторил не только фигуру, но, возможно, и какие-то повадки перенял для жизни, и коль похожи отец и сын, то почему и не предположить, что это он сам, Кунывин, празднует на склоне холма свое десятое лето? И не потому ли на своих сыновей мы смотрим с такой любовью чаще всего потому, что видим в них свое упоительное прошлое и что нам приятно обманываться смещением времен?

Но мы еще не в полной мере знаем, как эти маленькие жители спасают нас. Пускай мы вовремя трезвеем, понимая, что тщетны наши ухищрения оказаться вновь в уже прожитой поре, но хвала нашим сыновьям хотя бы за то, что они смотрят на нас такими честными глазами, от взгляда которых нам становится тревожно и хочется тотчас упорядочить собственную жизнь в соответствии с канонами десятилетних джентльменов.

Об этом умении наших сыновей если и не дарить прожитое, не смущать иллюзией второго детства, то хотя бы возвращать забываемые нами славные мальчишечьи принципы и думал нередко Кунывин, отправляясь со службы домой, где с утра заперта на ключ тишина, садясь на Смоленской площади в семнадцатый номер троллейбуса и считая в пути до Мичуринского проспекта, сколько же еще вечеров летнего одиночества до встречи в пятницу.

А сюда, в эту заповедную зону, где возле бревчатого теремка зов жены и грассирующее журчание жаворонка почудились ему странным диалогом, он все-таки привез свою Москву. Дольше обычного не избавлял от пульсации Москвы, от всех памятных напряженных перекуров на перекрестках институтских коридоров тот вздох облегчения, что обычно переключал городские ритмы на дачные, и сын определенно уловил в нем ту нервную собранность, которая даже молчание делала напряженным, и пустился играть чуть в стороне, пытаясь найти лаз в этих густых береговых валах. Удивительную тактичность десятилетнего человека находил Кунывин в тихом сыне, понявшем, кто в этот день напевает, а кто пока еще молчит, и поставшемся ни резким вскриком, ни воплем радости не помешать приближению той минуты, когда вздох облегчения все-таки достигнет гостя.

Играл сын, искал доступа к оберегаемому кустарниками руслицу, и все его прежние неудачные попытки вдруг показались Кунывину тоже наигранными: так легко, с замечательной ловкостью летающего ангела проник он в прореху в листьях, заплатанную всего лишь воздухом.

И тут удался наконец долгожданный вздох, и все вечера недели, глядевшие в сторону дачного теремка, нашли оправдание своей тоске теперь, когда лучшего вечера лету уже и не наколдовать: освещаемый снизвившимся солнцем холм простирал свою пирамидальную тень до самой речки, а там, где кончался рисунок тени,— там начиналась

тайна берега: замер у кустов или плавал без единого всплеска сын. Все вечера недели, обойденные вниманием сына, теперь словно уличали Кунывина в долгой немоте, и Кунывину поскорее хотелось увидеть, как выбирается сын из кустов с поднятым над головой комком одежды, увидеть его загорелую фигурку, ставшую глазурированной после купания, и услышать его восторженный возглас, на который душа ответила бы радостным междометием. А там и разговорятся они с сыном, воздавая неделе разлуки таким возбужденным говором, точно после семи лет отсутствия сошлись оба на берегу речушки, закамуфлированной кустарниками, и будет понимать Кунывин, какое для него спасение от московской суеты, усугубленной кулуарными страстями и постоянными незаметными поединками с соискателями институтской славы, какое для него спасение в побывках здесь, где маленькое королевство жены и сына, и как медленно будет убывать лето, как далеко еще до осенней истерики журавлей.

Истина этого мига была поважнее опыта всей недели, и Кунывин легко бежал по склону к самому концу пирамидальной тени холма, чтобы в этот миг и встретить сына чередой душевных восклицаний, если сын выйдет из тайника. Сын, вызванный из кустарников его нетерпением, как раз с прежней ловкостью летающего ангела оказался на виду, и рука его, влажная и оттого слюдяная в лучах близкого, вечернего солнца, потянулась в сторону одинокого на склоне холма и словно отставшего от зеленой флотилии ольшаников куста, и первым приветом сына стал его обеспокоенный возглас:

— Дикая курочка! Гляди поскорее — дикая курочка!

Кунывин счастливым взглядом соединил влажную руку сына и густой да темный от преизбытка листвы ольховый куст и обнаружил внизу, под ветвями, пепельную бегающую птицу.

— Да это же коростель! — вырвалось у него с радостным удивлением, как будто одно из бесчисленных открытий мира он подарил не только сыну, но и себе. — Птица, которая больше бегаёт, чем летает. А ночами она так нежно скрипит, такой странный голос у нее, будто это едет телега и скрипит тележное колесо... Потому и прослыла она в народе дергачом. Дергач! Но все-таки есть у нее более распространенное, более приятное имя — коростель.

— Коростель? — прислушался Витя к имени птицы, чтобы запомнить на всю жизнь, и сложил обе ладони одинаковыми ковшиками, то ли выпуская из рук, то ли принимая в руки подарок природы.

Кто из нас в детстве не мечтал пригласить птицу, подержать ее в плену с минуту или долее, пока твоя великая душа не выберет меж азартом ловца и свободой птицы и не отпустит пернатое создание с тем лестным тебе чувством, будто небесную волю дал птице не бог, но ты? Кто из нас не испытывал загадочной радости обладателя живой птахи, которая напрасно билась в тугой клетке наших ладоней и вдруг начинала терзать один из пальцев, пускать в ход то коготки, то клюв?

И Кунывин в одно мгновение вдруг нашел в себе того мальчика, что уже когда-то держал пойманную птицу, и с быстротой, свойственной тому ловцу, метнулся к обособившемуся пышному ольховому кусту. Все, что в нем соседствовало: и напряженность москвича, не отбившегося от тревог, и радость человека, которому спастись все лето в компании десятилетнего сына,— все это бросило его к кусту и помогло даже совершить вратарский прыжок. Теплая птица как будто заплесала, накрытая ладонью, и Кунывин мысленно уже приблизил те минуты счастливого сыновнего испуга, когда трепет коростеля, прижимаемого Витей к груди, скажет Вите о самом дивном его летнем приключении. Но рука, гонимая нетерпением, сделала еще несколько лишних, неосторожных движений и тут же ощутила, что теплая птица уже не бьется, не ищет спасения в густой траве, прошитой множеством усохших, колючих побегов и стеблей.

А сзади ликовал Витя:

— Ты поймал? Ты поймал дикую курочку? Где этот коростель?

И тогда, чтобы радостный испуг Вити не стал его настоящим испугом, пришлось Кунывину совершить еще один, на этот раз ложный прыжок, потом поискать полярную сторону куста, увлечь за собой Витю и первым вернуться к своему прежнему следу и теплое, но бестрепетное тельце коростеля отбросить подальше, к реке, чье русло повторно почти декоративным валом ольшаника, и словно бы предоставить коростелю возможность последнего полета.

Потом он разберется и найдет верным этот жест, избавляющий от оправданий перед сыном. Какая все же досада, что замысел поймать радость кончился так плачевно!

А Вите, который с увлечением петлял вокруг широкого, как стог, куста, он сказал с таким искренним разочарованием, которое могло сойти и за качественную игру актера:

— Исчез наш коростель. Ловкая птица, неуловимая птица...

— Больше бегают, чем летает,— повторил Витя нечто знакомое, повторил с такой интонацией, точно не верил и пытался возразить заимствованной фразой.

И тут же, будто опасаясь дальнейших приключений лета, стал всходить по склону холма. А на возвышении, охваченный сиянием золотого и к вечеру солнца, постоял, глядя вниз, с поклоном выбирая былую стезжку.

И этот поспешный уход Вити, это бегство его от дальнейших приключений подсказали Кунывину, что Витя наверняка заметил последний перелет коростеля со склона холма в заросли ольшаника, ставшие для речки ее вторым, малахитовым течением.

«Какой философ! — не поспевая за Витей и с надеждой глядя в его узкую спину, на эту смешную фигурку, что решительно отдалялась и чересчур быстро вышагивала, затевал он странноватый спор в свое

оправдание.— Какой философ, как он во всем разобрался и всех пожалел, в том числе и каждую птицу, каждую малую тварь...»

К будущему сына Кунывин относился по-разному: иногда находил естественно возможным, чтобы вырос человек, которого нелегко обидеть, но чаще все же хотел видеть его уступчивым, добрым мужчиной, который всякий раз вздрогнет и задумается, услышав от другого человека безоговорочное веление: «надо!» Ведь легче всего произнести это «надо!» и не подумать о том, какой солью пота взойдет на шкуре другого это веление. А когда жестокое «надо!» произнесешь в раздумье с вопросительной интонацией, то получится то же слово, но в теплой одежде твоего участия. И ты это стократ слышанное подхватишь иным голосом, и твое «надо?» скажет о том, что ты думаешь также и о шкуре другого.

Но теперь Кунывина раздражал этот беглец, этот слюняк, наверняка нашедший исчезновение коростеля самой главной трагедией лета. Теперь очень хотелось взглянуть с горестным весельем на сына и каким-нибудь ошеломительным признанием перебросить сына из этого лета в иную пору, в которую он все равно когда-нибудь попадет, в ту пору, для которой годятся стойкие парни. А вторым, не менее ошеломительным, признанием посвятить этого мальчика, примкнувшего в одночасье к стойким парням, уже и вовсе в зрелые люди и без смущения заметить, что мы слишком медленно проходим свою мужскую школу и что для каждодневных битв, для бесчисленных испытаний нашего самолюбия, для защиты наших принципов нужны воистину настоящие, тертые мужчины.

А мальчик ничего этого не хотел знать и стремился быстро к домашним палестинам, и лето меняло красоты вдоль его стежки: уже не мелкий белый клевер холма иллюстрировал лучшие дачные места, а крупные головки сиреневого клевера убеждали в бесподобном колорите июня.

Пускай этот клевер называется красным, но ты с самого первого дачного путешествия, когда попытался пиршество лета хотя бы частично перенести в свой давнишний детский гербарий, помнишь эти излюбленные тобой фонарики летних лугов и помнишь еще, что сиреневую окраску шаровидным цветам придают их бесчисленные полые хоботки, в которых то сиреневая роса стоит, то сиреневый воздух.

А мальчик все уходил, уходил по едва заметной тропе, такой узкой, словно ужавшейся от июньского избытка клевера...

Когда Кунывин на последних метрах тропы, впадающей в затейливую песчаную пустыньку вокруг теремка, глянул на крыльцо, которому для загадочной симметрии соответствовало и другое крыльцо теремка, то ни жены, ни Вити не увидел. Но все-таки путешественников ждали: кажется, уже были испечены и блинчики, которые Витя любил сворачивать в тонкие, лилейные горлышки. Так

повеяло вечерней дачной кухней, уютным застольем, которое и вовсе не застолье, потому что сын любит подхватывать еще горячую луну из белейшей муки и потом обжигающим ковшиком искать муоровое, переливающееся влажными блестками варенье из черной смородины, а ты готов подражать сыну...

Вити не оказалось там, где попевала очередная луна телесного цвета, и он подумал, что Витя теперь у себя, в той комнатке, что имеет дверь в большую комнату, но также и свою дверь на волю — ту дверь, которой предлагает ступенчатую услугу и тесовый свод шатром второе крыльцо.

Пожалуй, принес он с дачной тропы не спокойствие, а прежнюю напряженность, и Наташа, как он заметил, тотчас уловила в нем московское настроение и что-то принялась напевать без слов, точно была здесь одна, точно он пока и не приезжал из Москвы.

Покинув веранду, где пеклись лунные диски, обошел со всех сторон дачное пристанище, чтоб Витя наконец обнаружил вернувшегося своего компаньона. Да только Витя, часом ранее таившийся в ольшаниках, теперь тайлся в своем дачном укрытии.

Тихий, как будто нежилой теремок! Тишина бревенчатого теремка в любую его побывку окончательно гасила памятный шумок институтских кулуаров или будоражащую песнь рельсов метрополитена. И он был рад, что хотя бы здесь нет телевизора и что телевизионный экран до поры до времени не смутит Витю открытием: стреляли на экране вчера, стреляют и сегодня. Право смотреть телевизионную программу «Время» Витя выстрадал в одних из семейных дебатов прошлого года, и Кунывин всегда в тревоге косился на сына, если зарубежная кинохроника дробила всего лишь один день на жестокие происшествия: где-то полицейские тащили по асфальту бастующих женщин, а где-то на людной площади пластиковая пуля повергала юношу в вечный сон.

А может, удивительная для десятилетнего человека деликатность заставила Витю укрыться за дверью личного крыльца до той поры, пока ночь не засекретит прошлый день? Может, он предугадал, что последнее событие дня будет обретать вторую жизнь в разговорах допоздна и даже впотьмах, станет почти детективной историей на целый дачный вечер — и не захотел слышать правды?

Кунывин же, находя, что обстоятельства помогают разговору без единственного свидетеля, сел на веранде возле Наташи, прикрыл глаза ладонью, нечаянно угодив локтем в коллекцию блинов, и быстро да складно рассказал грустную новеллку, чтобы хоть как-то объяснить свою напряженность, не развеянную и на двух этапах тропы. Все, что в Москве обращало его службу в потаенную битву с волонтерами кулуарного сыска, и что для Наташи на ее службе обеспечивало постоянную конкуренцию с приветливыми женщинами, и что для тысяч других москвичей готовило ежедневный замес для размышлений о жизни, — все это как будто и не могло объяснить ему и его На-

таше причин, по которым мы порой вздрагиваем даже от чужого взгляда, а вот драма на склоне прекрасного ионьского холма, получается, и трактовала нынешнюю нервозность москвича.

Чтобы не очень поддаваться самообману, он все же вовремя спохватился:

— Я еще жил Москвой, а ловить птицу надо спокойными руками. А я еще не изгнал из мыслей этого Тушака, этого Митько!

— Вот они и задушили дикую курочку, — как нередко, парадоксом поискала Наташа истину. — Они, а не ты.

— Конечно, они! — удивился он изощренной подсказке Наташи. — Да только мы с тобой это пойдем, а Витя? Что, если он видел?

«Какой философ! — вернулся он к недавнему упреку своему, который на тропе посылал вдогон Вите. — Какой философ, как он во всем разобрался...»

И кинул взгляд из-под ладони туда, где за стеной таился этот безмолвствующий мудрец.

А нервозность, которую он вез с собой за сорок километров от Москвы, легко разрешила последнее событие в пользу таких тертых мужчин, каким был уже он сам и каким станет со временем и его сын, и он вдруг разозлился на сына за то, что такая дистанция меж племенем умудренных жизнью мужчин и этими мальчиками с игрушечными пистолетиками в руках, с этими мальчиками, которым иногда приятно вообразить себя убитыми, и он словно захотел пренебречь тем отрезком времени, что сулит сыну лишь добрые открытия и замечательные утехи, и перебросить в иной период жизни, когда и детство видится не столь безмятежным.

— Я сам был в детстве жестоким: оставлял бабочек без крыльцев, а птиц загонял в проволочную клетку. Я, наверное, в детстве избавился от излишнего запаса жестокости.

Он говорил достаточно громко, чтоб слышно было и мудрецу за стеной.

Наташа хорошела от любопытства, ее широко открытые глаза каштанового оттенка смотрели с любовью и, пожалуй, с радостью дальнейшего узнавания человека, знакомого ей десятилетие.

— А почему Витя не такой? — уличал он сына и дальше. — Почему он никого не терзает, никакую малую тварь не лишает жизни? Значит, выплеснется это из него потом, скажется во взрослые годы? Что же тогда будет? Куда же денется то, что каждому дано?

— Какие же мы безнадежно пожилые, — по-своему, в своей обычной манере, когда парадокс отвергал избитые правила диалога, сказала Наташа, не утратив во взгляде любви к тем, кто ей дорог. — Как трудно нам достался опыт жизни.

— А может, Витя вообще с отклонениями — допустим, у него талант? — смело продолжал он сокращать дистанцию меж поколениями.

ями и даже стучаться в то запретное, что было судьбой. — Что, если, не дай бог, у него талант? Какие же тяготы ждут его? Докажи людям, что ты не вознесся над ними, что ты свой талант принимаешь как ущербность. Встой под ударом первого завистника, а потом не сломайся и под ударом сотого завистника из племени тех, кого возмущает талант. О-о, что же ждет нашего сына!

— Да ты откуда знаешь? — дерзко отказала ему жена в способностях. — Откуда это тебе известно?

— Хотя чем-нибудь отличишься, умением каким-нибудь... да, умением правильно читать, дельно истолковывать информацию и всякие факты класть фундаментом какого-то вывода — и это не прощается, даже это. А талант оскорбляет многих...

«Что это я? — подумал он. — У кого была такая жесткая неделя? И кто не может войти в русло дачной жизни? При чем сын?»

Горестно прикусив губу, он ощутил дневные всходы щетины. И тут вдруг решил: стоит зайти туда, где уединился сын, — и все недельные тяготы, осложнившиеся еще и этим происшествием на речке, все это забудется во имя того, чтоб ты помнил всегда: дети спасают нас, их честные глаза говорят об идеальной жизни в такую пору жизни, когда еще и не сможешь дельно высказать свои соображения о всяких там принципах, правилах настоящего мужчины...

И он уже направился было туда, где уединился маленький идеалист, как в это время жена с знакомой интонацией продолжила разговор:

— А почему бы и не пробудиться таланту у Вити? Ты, пожалуй, и не знаешь еще, что он уже нарисовал свой первый пейзаж? Обычным фломастером, представь...

— Первый пейзаж? — восхитился Кунывин, забыв о том, что тревожиться надо, если у маленького человека пробуждается талант.

И уже ничто не могло удержать его от желания войти к сыну, точно он мог в этот же миг увидеть первый пейзаж сына и определить талантливость рисовальщика.

Поначалу, правда, Кунывин побродил возле берез, где стройный серый бетонный фонарь все прикидывался родней деревьев, пока не зажегся и не выдал своей природы, а потом Кунывин смело шагнул в приют начинающего художника.

И увидел рисунок сына.

Хотя это и не был пейзаж.

Но что пейзаж, если и птица, которую рисовал сын и как будто, делаю одни и те же рисунки, копии, расшвыривал по полу, вызвала у Кунывина вздох удивления! Что там какой-то пейзаж, если эта размноженная, живая птица, в которой он узнал коростеля, сказала Кунывину сразу так много! Ведь понял он тотчас, что сын определенно догадался там, на речке, об уделе коростеля, и вот теперь, рисуя да рисуя коростеля живым, сын словно воюет за жизнь птицы...

Ах, эти непонятные нам принципы и требования маленьких идеалистов, у которых, оказывается, тоже бывают свои острые драмы!

И вот он, чьи недельные треволнения казались ему прямым путем к срыву, к пресловутому стрессу, вдруг почувствовал остроту переживаний своего маленького идеалиста, склонился над одним из точных изображений коростеля и постарался взглянуть на ожившего коростеля глазами своего сына, которому нужно было в этот вечер видеть счастливой судьбу птицы.

ГЛАВНАЯ РОЛЬ

Услышьте просьбу бывшей подпольщицы. Погибшие подпольщики не услышат, а живые подпольщики, пожилые сверстники мои, не услышат тоже, потому что в других городах вспоминают о юности. Но услышьте вы, пожелавшие вернуть нашу юность.

Я не хочу и не умею играть женщину своих лет, маму подпольщицы, потому что все это нелепо: в жизни, в той юности, которую я не берегла и не страшилась потерять, я была Зоей Шкварко, главной героиней этой правдивой пьесы, в которую вы меня заманили играть, а теперь на ваших подмостках я должна играть не Зою Шкварко, а пожилую маму Зои Шкварко. Я все понимаю, давно уже я не Зойка, давно Зоя Ивановна, помню и без зеркала все морщины на своем суховатом лице и эти сивые свои волоски помню, а только язык у меня деревенеет и вся я немею, когда вижу на этих подмостках другую Зойку Шкварко, молоденькую, востроносую, чернявую, такую не похожую на меня, если еще раз поглядеть на мой довоенный снимок! И не могу я слова связать, когда слышу, что мои прежние слова произносит другая, а не я сама. Вы поймите! Если бы я сама, уже пожилая и не такая бойкая, не такая приятная, да уже и совсем несколько не приятная, сыграла главную роль, то во мне, может быть, и мелькнул бы талант. Я же помню, какою была. Я же, может, еще и теперь осталась тою Зойкой. А вы меня заманили, дали мне другие слова и смуглили. Это очень благородно, что вы решили про нашу юность поставить спектакль. А только я не понимаю: зачем сманили меня с веревочной фабрики в артистки? Чтобы сама подпольщица гремела в пьесе про подпольщиков? Так я же никакая не артистка, я никем не смогу быть, а только Зойкой Шкварко!

Так Зоя Ивановна подумала о последних нелегких днях своей жизни, а сказала обо всем несколько иначе, сказала резко и откры-

венно. И смело оглядела всех, кому дорога была ее юность: и живого, насмешливого режиссера народного театра Акима, и сочинителя Игоря Боровского, и местного хроникера в кроссовках, вострившего карандаш перочинным ножиком. И ей показалось, будто все эти люди на какое-то мгновение были потрясены ее признанием и мольбой.

Зоя Ивановна поежилась, точно лишь сейчас ощутив прохладу зала, где озябнуть можно и душным летом, и тем более теперь, в сентябре, и едва ли не раскаяться пожелала в произнесенном, в своей нелепой мольбе и тут же отказалась и от главной роли, для которой стара, и от другой роли, для которой нету дара. Поставить крест на чуждом ей поприще!

Но тут Аким, пронизательно глянув узкими глазами, предвосхитил ее новое признание.

— А ты убеждена, Зоя Ивановна, что главная роль пробудит в тебе талант? Ты убеждена в своих способностях для главной роли? Ты не очень ли самоуверенна, Зоя Ивановна? И веришь, что можешь на сцене повторить свою юность? — И он, устав от целой очереди вопросительных слов, смахнул обильный пот надушенным платком: тучный Аким легко, от малейшего усилия, покрывался испариной. — А теперь, — пробормотал он, вытирая и губы, сквозь платок, — закончим репетицию до завтра. Попробуем и завтра эту же мизансцену, дорогие мои Зойки. — И посмотрел с безудержным весельем на старую Зойку, на молодую Зойку — на нее, Зою Ивановну, и на Веру Трубенец, которая должна была выступать в главной роли.

И как же противоречивы мы порою в своих чувствах! Без смущения называя себя бездарною и отрекаясь от сцены, она вдруг сердито взглянула на Акима, едва и тот счел ее бесталанной. Сотню раз можем мы упрекать себя в чем-то и можем словно бы нежиться этими собственными упреками, но попробуйте другие, посторонние! Тут мы ожесточаемся, тут нас не тронь: мы злые, мы зубастые, мы одни шипы да иголки.

— Что ж, Зоя Ивановна, — вкрадчиво, сердечно и с очень вдумчивой миной произнесла Вера Трубенец, — у актрисы жизнь и состоит из трудов да разочарований. Ищешь, ищешь интонацию, не спишь, бормочешь спросонья слова чужих людей, отчаиваешься, нервничаешь, куришь, дуешь кофе. Труды, незримые тяжкие труды! — И Вера, сокрушенно вздохнув, коснулась пальцами мраморного лба.

Таким знакомым показался Зое Ивановне этот жест, она вспомнила своих выросших дочерей и как они тоже, делая умный вид, касаются кончиками пальцев лба, сокрушенно вздыхают, тяжким вздохом выражают всю сложность жизни, превращают будничные мелочи в неразрешимые, безысходные проблемы.

— Зоя Ивановна, — глуховато попросила сосредоточенная Вера, — мне бы кое-что прояснить... Мне бы кое-какие психологические подробности по ходу роли моей выяснить... Вы понимаете, Зоя Ивановна? Здесь, конечно, — она рукой — за жакетной меж пальцев сигареткой повела в темную глубину пустынного и свежего, проветренного зала, — здесь не тот разговор. А вот ко мне бы...

— Идем к тебе. Идем к тебе, Зойка! — молодо откликнулась Зоя Ивановна, нарочито называя ее Зойкой и безмерно благодарная в этот миг ей, красавице, умнице, актрисе, за то, что она, юная, будет жить жизнью юной подпольщицы Зойки Шкварко, да и уже сейчас живет, думает, ищет всякие подробности, хочет быть похожей на Зойку, на Зойку!

Когда пришли они в дом Веры Трубенец и сели друг против друга, юная Вера посмотрела на нее как бы впервые, с особенной пристальностью, наверняка искала какие-то необходимые ей психологические черточки, подробности, а Зоя Ивановна смотрела на Веру, благодарная ей за Зойку и видела в ней сейчас Зойку, Зойку.

Та Зойка была круглолицей, смешной, лунообразной, но зато, наверное, с таким же мраморным челом. И пускай не схожи та Зойка и эта Зойка, а все же сейчас, в этой Зойке, которая курила и подпирала пальчиками белое чело, видела она ту Зойку.

Что такое война, оккупация, подпольщики? Недоучившиеся школьники продолжали писать домашние работы, которые не были школьным заданием, а были боевым заданием, и ночами они писали домашние работы, начинали каждый лист с проклятия фашистам и заканчивали каждый лист здравницей в честь будущей нашей победы. Ночью же, остерегаясь немецких патрулей, надо было тенью прикинуть к забору, оставить правду белой листовки на заборе и тенью же метнуться дальше. Недоучившиеся школьники оставались школьными спортсменами: всюду пролезут, от любой погони уйдут. Но самым главным делом подпольщиков было пленить, схватить живым бургомистра Герхардта. Обрусевший этот немец издавна жил в Жучице, работал инженером на мебельной фабрике, до войны любил вечерами спускаться к Днепру и часами плавать в вечерней, словно бы подогретой, нежной воде, а потом стоять, скрестив руки на полной груди, и глядеть на тот берег, на темнеющий луг, на клюквенную на закате воду Днепра. А еще любил Герхардт варенье из малины, очень он любил эту ягоду, и подпольщики лишь на то и надеялись, что удастся появиться в его доме гостем с полной корзиной малины, улучив удобную минуту, погибнуть или спасти людей, которых согнали на станцию для отправки в Германию. Никто не вправе был решать, кого послать на задание, бросили жребий — счастье погибнуть или выполнить задание досталось ей, Зойке. И с полной корзиной ягод Зойка Шкварко отправилась к душегубу. В планы подпольщиков входило схватить Герхардта в заложники или хотя бы выпытать у пленника самые тайные сведения. И вот сидела Зойка

в домашнем кабинете Герхардта, лакомилась малиной, застревавшей в горле, и думала о своих хлопцах, которые совсем неподалеку от дома затаились и ждут, когда любезный Герхардт выйдет на прогулку с гостей. Но разве планы совпадают с реальными событиями? Что-то настороженное мелькнуло в хитрых синеватых глазах Герхардта, и Зойка, не медля ни секунды, набросила крючок на дверь, выхватила из-под блузки пистолет. «Или смерть, или отпусти на волю людей, душегуб!» — тихо, ощущая сильнейший озноб, воскликнула она. И повела пистолетом на телефонный аппарат. И ждала: вот сейчас конец, и прощай, мама. Но бледный бургомистр, не глядя на нее, на полое дуло пистолета, стал и в самом деле звонить на станцию и требовать, чтоб задержали загнанных в пакгауз людей, чтоб дожидались новой партии невольников и ни в коем случае не подавали вагоны. И Зойка, сжимавшая пистолет, опасалась, как бы невольно не выстрелить в такого покорного зверя. И потом, когда повелела дрогнувшим голосом выйти на прогулку, то обнаружила, что бургомистр легко вышел, перепоясавшись портупеей и щелкнув пуговкой кобуры, в которой уж не было оружия, а вот она сама не может стронуться с места!

— Ах, Зойка ты моя! — почти с восторгом воскликнула Зоя Ивановна и потянулась к ней, поцеловала в гладкий лоб и стала неотрывно глядеть на эту Зойку, так остро чувствуя сейчас радость жизни. — Ну что тебе, ну какие там подробности? Страшно или не страшно? Да я же сказала: ноги будто примерзли! А еще, если хочешь знать... Когда ту бумажную трубочку вытащила, тот жребий свой, нет, когда жребий пал на меня, то я больше всего за маму испугалась. За маму самый большой страх у меня был! Это же мама шила мне белые фартучки, это же она мне учебники покупала. Еще июнь, только начнутся каникулы, а мама уже покупает для меня учебники у тех, кто тоже перешел в другой класс и кому они уже не нужны. За маму я больше всего и боялась!

Вера, широко раскрыв глаза, с ужасом смотрела на нее, так что Зоя Ивановна своей рукой коснулась мягкой, атласистой Вериной руки, чтобы Вера не так глубоко страдала и пощадила свое сердце.

А Зою Ивановну вдруг озарила та мысль, что вот, занесенная прихотью режиссера на сцену, попросила нахально сыграть главную роль, которая уже сыграна, сыграна. Да что там сыграна! Кровью, жизнью своей и маминой жизнью едва не оплачено то самое главное в ее жизни, что сделало ее знаменитой на всю Жучицу уже навсегда, до самого последнего дня, на все зимы и сентябри, на всю жизнь, на всю жизнь...

«Дуреха же! — твердила она себе, собираясь уходить и расставаясь с молоденькой Верой, наделенной даром изображать самых разных женщин и даже ничем не похожую на нее Зойку, Зойку Шкварко изображать. — Ах, дуреха же я!»

Минуя главную улицу, наверняка еще запруженную праздным юношеством, она без промедления мчалась окольным путем, пустынь-

ными улицами на свою Почтовую. И находила странной в себе неуходящую досаду на жизнелюбивого режиссера Акима. Казалось бы, так радостно было бы смириться, утешив себя большою мыслью о том большом, главным, что навсегда возвысило ее жизнь. И махнуть рукой на свою бесталанность. И не сетовать на Акима. И поставить крест на чуждом ей поприще.

Но раздражало, не давало успокоиться то обстоятельство, что весельчак Аким легко счел ее бесталанной и даже выразил сомнение, сможет ли она, Зоя Ивановна Шкварко, сыграть Зойку Шкварко.

«Да я же была Зойкой и осталась Зойкой! — негодовала она. — Ну, морщинок там несколько. Ну, голос не такой звонкий. Ну, этот дурацкий валик на голове, старомодный валик, над которым потешаются дочки. Но я же все равно тот самый человек!»

Наверное, уж очень решительно ступила она на освещенную веранду своего дома, где пахло горячим вареньем и где обе дочки бережно ставили бутылки и банки, как бы наполненные янтарем, на широкий подоконник, у самого стекла, треснувшего от чьей-то рогатки частыми лучиками, напоминавшими хрустальную паутину.

Дочки — белокурая Слава и тоненькая, с мерцающими и словно переливающимися, как две большие ртутные капли, глазами Женя — потрясенно взглянули на нее, бросились обе, ласково касаться стали ее одежды, рук, ласково спрашивать, что же с нею, с мамой, произошло.

— А ничего не произошло. Ну и конфетами от вас пахнет! А произойти ничего не произошло. Просто мне не повезло на сцене.

Тут Слава и Женя переглянулись, потянулись одна к другой, комариными голосами перешепнулись и уткнулись каждая в сестрино плечо, заметно вздрагивая от тайного смеха.

«Еще не так посмеетесь, — весело подумала Зоя Ивановна, все еще не прощая Акиму его напрасные и неосторожные слова. — Еще будет смеху. Я вам не Зойка Шкварко? Нет же — Зойка, Зойка! И еще посмотрим — какая Зойка...»

— Ну-ка, дочки, дайте мне барахло соответственное. Желательно какую-нибудь кожаную тужурку. И сапожки зимние. Ничего, сойдут в темноте за кирзовые. И ремнем бы подпоясаться! — требовала она, удивляясь тому, как охотно, словно по волшебному мановению, исполняются все ее загадочные просьбы.

И вот, одетая в кожанку, она предстала перед дочками, влюбленно созерцавшими ее, совсем другою, военной женщиной.

— А все-таки, мама, репетиция продолжается. И никакого прощания со сценой, — погрозила восковым пальчиком Женя, сверкнув ртутными своими глазами.

Ничего не понимали дочки, а если и понимали, то по-своему. Но не знали, что вовсе не в таких доспехах собиралась Зойка Шкварко в гости к бургомистру Герхардту. Просто в таком одеянии она

действительно выглядела воительницей, чуть ли не революционным комиссаром.

Откозыряв ошеломленным дочкам, она лихо сбежала с крыльца, определенно зная, что Слава и Женя очень долго и уже без утайки будут хохотать, утирать от смеха выступившие слезы и жаловаться потом на боль в боку от такого напористого смеха. Ах, мама в кожанке!

А она, став в эти мгновения Зойкой, бесстрашной Зойкой, вновь темными улицами, вздрагивая вдруг от глухого стука падающей наземь антоновки, кралась на улицу Луначарского — туда, где жил весельчак, шутник, затейник Аким.

Большой деревянный дом светился множеством окон, из одних слышался жизнерадостный голос Акима, из других — музыка, напоминающие оркестр звуки аккордеона, который, должно быть, растягивал сейчас кто-нибудь из Акимовых хлопцев.

Было бы неосторожностью расхаживать или таиться возле освещенного, веселого, музыкального дома, и поэтому Зоя Ивановна тотчас же толкнула калитку, распахнувшуюся во двор, в запахи душистого табака, а затем потянула на себя входную дверь, тоже незапертую.

Аким предстал перед нею в ярком свете люстры, похожей на множество неосыпавшихся лепестков, соединенных вместе, на яблоневый цветок. Был Аким розовощек, с несколько лукавым выражением холеного лица, монгольские глаза его сузились от избытка веселья.

И не успел Аким досказать нечто забавное своей жене, тоже смешливой, с мелко завитыми рыжими волосами женщине, как Зоя Ивановна тихо, ощущая сильнейший озноб, воскликнула:

— Или смерть, или отпусти на волю людей, душегуб!

А он, розовая лицом и все так же весело глядя узкими прорезями глаз, соглашался:

— Молодец, Зоя Ивановна, интонацию нашла ту самую, убийственную. И почему бы тебе не сыграть свою Зойку, свою главную роль? Но гриму, гриму на тебя уйдет, Зоя Ивановна!

Она же, счастливая оттого, что вновь видит перед собою румяного, улыбающегося, лукавого человека, сложила обе ладони слева, где сердце, чтобы успокоиться, отойти окончательно, и возразила даже с некоторой дерзостью:

— Оставь свой грим для бутербродов, Аким. Вера сыграет так, как мне не сыграть. Да и зачем мне эта главная роль, Аким? Она же мною пройдена, Аким. Пройдена моя главная роль, дорогой. А теперь пускай Вера, пускай молодые Зойки повторяют мою главную роль.

СО Д Е Р Ж А Н И Е

Бабочка, я подражаю тебе	3
Московский шансонье	18
Бегающая птица	28
Главная роль	42

Эдуард Маркович КОРПАЧЕВ

БЕГАЮЩАЯ ПТИЦА

Редактор М. М. Жигалова.

Технический редактор О. Н. Ласточкина.

Сдано в набор 20.08.86. Подписано к печати 15.10.86. А 00748.
Формат 70×108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Школьная».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 2,10. Учетно-изд. л. 3,15. Усл.
кр.-отт. 2,28. Тираж 80 000. Изд. № 2719. Зак. № 3572.
Цена 20 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865,
ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Сотни тысяч человек постоянно занимаются физической культурой и спортом на стадионах, в бассейнах, спортивных залах и других сооружениях, построенных и реконструированных с помощью доходов спортивно-числовой лотереи «Спортлото».

Новые спортивные сооружения, возможность систематически заниматься физкультурой и спортом — таков главный выигрыш всех участников этой популярной игры. Каждый из них вносит свой вклад в развитие физкультуры и спорта, помогает спортивному строительству.

Лотерея «Спортлото» проводится в двух видах — «6 из 45» и «5 из 36». Тиражи транслируются по Центральному телевидению еженедельно.

Каждый билет участвует в тиражах двумя вариантами (комбинациями) номеров. Он выигрывает, если с результатами тиража совпадут не менее трех номеров, зачеркнутых в одном из вариантов.

Выигрыши — от трех до 10 000 рублей.

Главное управление спортивных лотерей
Госкомспорта СССР.